

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени А. И. ГЕРЦЕНА

У Ч Е Н Ы Е
З А П И С К И

ТОМ 215

Кафедра
русской
литературы

ЛЕНИНГРАД—1959

М. Л. СЕМАНОВА

ЧЕХОВ И ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ

(К вопросу о творчестве Чехова 1880-х годов)

Исследователи Чехова, выясняя особенности его идейно-творческой позиции, обычно обращаются к сравнению этого писателя с такими русскими художниками слова, как Толстой, Тургенев, Горький. И это вполне правомерно. Но связь Чехова с его предшественниками и современниками, эволюция мировоззрения и творческого метода художника не будут достаточно ясны и полно раскрыты, если не исследовать еще некоторые вопросы, в частности вопрос об отношении Чехова к одному из выдающихся русских писателей второй половины XIX века — Г. И. Успенскому.¹

При этом исследователя не должно останавливать то обстоятельство, что на первый взгляд эти писатели не сходны между собой. В творчестве Успенского преобладает очерк, а в творчестве Чехова — рассказ, повесть, комедия. Успенский

¹ В последние годы в работах об Успенском и в работах о Чехове неоднократно сближались имена этих писателей и тем самым подготавливалось специальное изучение вопроса. Назовем, например, работы Н. И. Пруцкова. Глеб Успенский. (История русской литературы), т. 9(1). Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 334, 345; Наследие Г. И. Успенского и литература социалистического реализма. «Вопросы советской литературы», т. 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 177—178, 183; Глеб Успенский в шестидесятые годы, Тула, 1952, стр. 24; И. Рябова. Глеб Успенский. Гос. изд. худож. литературы, М., 1954, стр. 106; З. Паперного. А. П. Чехов, Гос. изд. худож. литературы, М., 1954, стр. 44—47; М. Гущина. Творчество А. П. Чехова. Изд. Харьковского университета им. А. М. Горького. Харьков, 1954, стр. 52, 168—182.

постоянно прибегает к публицистике. Чехов как будто чуждается ее.

Если даже придать решающее значение читательскому «первому чувству» и согласиться, что между Успенским и Чеховым большие различия, чем сходства, то это все же не должно освободить исследователя от выяснения вопроса о характере различия и причинах его. Само это «несходство» может дать материал для выводов об особенностях творчества двух современников.

Но, разумеется, нельзя доверять одному читательскому чувству, как бы оно ни было важно при определении эстетической ценности и своеобразия литературных явлений. Нельзя доверять уже потому, что оно не охватывает всей суммы явлений, т. е. поневоле односторонне. Так, даже бесспорное на первый взгляд утверждение: жанр очерка не «чеховский» жанр, — должно быть поставлено под сомнение, если вспомнить очерки Чехова «Из Сибири» и «Остров Сахалин».

Чтобы осветить вопрос о взаимоотношении Чехова и Успенского, необходимо пристально всмотреться в явления и факты жизни, известные обоим писателям, сопоставить, проанализировать эти факты и явления в связи с творчеством художников-реалистов, с темами, ситуациями, персонажами их произведений. Тогда яснее станет, каков принцип отбора у Чехова и Успенского, как он зависит от мировоззрения и особенностей творческого метода писателей. Тогда выявятся «признаки времени», типическое в их произведениях и индивидуальное своеобразие каждого из них.

Недостаточно констатировать только то, что Успенский и Чехов были реалистами, заняли прогрессивную, демократическую позицию; важно конкретизировать применительно к каждому из них это положение. Оба писателя, явившись свидетелями определенных общественно-исторических условий пореформенной России, очевидцами поры реакции восьмидесятых годов, внимательно изучая жизнь, естественно приходили к обличению самодержавно-полицейской буржуазной действительности, к постановке одних и тех же тем: положение народа, значение интеллигенции, ее искания и эволюция, появление новых хозяев жизни — купцов Мясниковых, хищников Варламовых, подавление человеческой личности современными Мымрецовыми и Пришибеевыми. Оба писателя мечтали о «выпрямлении» человека, «выдавлывании» из него «по каплям раба».

Порою Успенский и Чехов приходили к одним и тем же (или близким) выводам. Но это далеко не всегда. Поэтому важно понять не только, что находится в центре внимания художни-

ков, какие темы они ставят, но и как разрешают актуальные вопросы времени, т. е. понять всю сложность, противоречивость, все своеобразие прогрессивной, демократической идейно-творческой позиции Успенского и Чехова. В связи с этим необходимо уточнить, каково было отношение каждого из них к такому значительному явлению времени, как народничество, и какова была оценка обоих писателей критиками различных лагерей. Нас не может, в частности, не интересовать вопрос о роли идеолога народничества Михайловского в творческой жизни Успенского и Чехова, так как многочисленные печатные отзывы его об этих писателях являлись одним из проявлений интереса народников к Успенскому и Чехову, одним из эпизодов борьбы за этих писателей в последние десятилетия XIX века.

Нельзя оставить также в стороне личные отношения двух художников-современников, оценки их друг друга. Только привлекая все возможные материалы, мы сумеем ответить на вопрос, оказал ли Успенский воздействие на своего младшего современника, сыграл ли свою роль в развитии Чехова.

* * *

К началу 1880-х годов, ко времени появления в юмористических журналах первых литературных опытов Антоши Чехонте, Глеб Успенский был уже широко известен читателям «Нравами Растеряевой улицы», «Разореньем», такими очерками, как «Будка», «Большая совесть», «Книжка чехов» и др. В семидесятые годы появился ряд сборников, для которых писатель отобрал лучшее из написанного им в предыдущие десятилетия: «Очерки и рассказы» (1871 г.), «Глушь» (1875 г.) и др.

В пору, когда молодой Чехов писал свои первые шутки, Г. Успенский опубликовал «Из деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», а в 1883—1886 годах подытожил свой двадцатилетний труд первым собранием сочинений (изд. Ф. Павленкова). В конце десятилетия вышло двухтомное собрание сочинений Г. Успенского (в том же издательстве). Оно имелось в библиотеке А. Чехова.

Молодой писатель был свидетелем того успеха, который выпал на долю этого собрания сочинений Успенского: оно разошлось в течение нескольких месяцев, и в том же (1889) году потребовалось второе издание, повторенное вновь через несколько лет.

В 1870—1880-е годы, в годы молодости и формирования Чехова-художника, Г. Успенский, отвечавший на тревожные вопросы времени, находился в центре внимания читателей. «Он пользуется симпатией читающей публики в размерах, совершенно неизвестных другим писателям, — писал один из крити-

ков. — Заберитесь в какую угодно глушь, и вы везде найдете не только читателей Успенского, не только почитателей его таланта, но людей, именно пылающих любовью к этому оригинальному писателю».¹

В конце 1887 г. общественность отмечала 25-летие литературной деятельности Успенского. Хотя сам писатель настойчиво отказывался от публичного чествования, но он был взволнован письмами читателей, в которых было высказано много искреннего внимания, оценены его заслуги перед обществом и народом.

В письмах А. П. Чехова восьмидесятых годов, в ранней публицистике («Осколки московской жизни») мы постоянно находим упоминания о чтении им газеты «Русские ведомости», журналов «Северный вестник», «Русская мысль» и др., в которых печатались в это время очерки Г. Успенского и критические отзывы о них. Писатель явился свидетелем той борьбы, которая шла вокруг Успенского в современной критике. В этой атмосфере и складывалось отношение его к старшему современнику.

Юмористические журналы, в которых печатался молодой Чехов, утратили прежние сатирические демократические традиции, хотя сотрудники их не решались признать в этом. Так, в «Будильнике», где еще недавно (до 1879 г.) появлялись очерки Г. Успенского, гордились участием его, считали Успенского, Щедрина, Курочкина, Михайлова и других «шестидесятников», «искровцев» своими учителями, утверждали, что «Будильник» с 1860 года идет дорогой «Искры».² Здесь не учитывалось, что сам Успенский воспринимал свое участие в «Будильнике» как вынужденное: «В «Будильнике»... у меня тьма разных заметок». «Крайняя пужда заставила якшаться бог знает с кем».³ Знаменательно, что юбилейная речь Антоши Чехонте (в связи с двадцатилетием «Будильника») лишена самоудовлетворенности сотрудников этого журнала, их беспочвенного «оптимизма». Молодой писатель говорит о «тяжелой, нездоровой жизни», недолговечности и беспринципности журналов, об отсутствии «руководящих традиций».⁴

¹ Я. Абрамов. Петербургские письма, «Казанский биржевой листок», 1888, 4 октября, № 216. См. также В. Е. Чешихин-Ветринский. Г. И. Успенский в 70-е и 80-е годы, «Русская мысль», 1913, № 8.

² См., напр., «Будильник», 1885, № 12 (ред. статья юбилейного номера).

³ Письмо Г. И. Успенского В. А. Гольцеву 25 ноября 1888 г., Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1949—1954, т. 14, стр. 212. В дальнейшем все цитаты из произведений и писем Успенского даны по этому изданию.

⁴ А. П. Чехов. Тост прозаиков, Полн. собр. соч., Гослитиздат, 1944—1951, т. 4, стр. 561. В дальнейшем все цитаты из произведений и писем Чехова даны по этому изданию.

В «Литературной табели о рангах» (1886) молодой Чехов отводит Г. Успенскому одно из первых мест, вслед за Толстым, Щедриным, Островским, Гаршиным. Здесь Успенский назван до Короленко, Плещеева, Надсона, Михайловского, Минаева, Пальмина, Златовратского, Эртеля и многих других современников. Из мемуарных материалов мы узнаем, что Чехов «высоко ставил... Гл. И. Успенского, которого считал первоклассным художником»,¹ что еще юношей Чехов и его товарищи по таганрогской гимназии «читали с увлечением» Г. Успенского.² Из некоторых замечаний Чехова в письмах, брошенных как бы мимоходом, становится ясным, что он считает закономерным сближение Г. Успенского с Салтыковым-Щедриным, Чернышевским.³

В свою очередь, Успенский по-видимому следил за литературной деятельностью молодого писателя. Ему был известен и первый сборник Чехова «Пестрые рассказы» (1886), о котором много говорили в ту пору, и сборник «Хмурые люди» (1890).⁴ Глеб Успенский откликнулся на первое большое драматическое произведение «Иванов» в своих очерках «Грехи тяжкие» (1889); на отзыв этот (о нем речь ниже) специально обращали внимание Чехова его корреспонденты.

Чехов и Успенский были лично знакомы. Они одновременно сотрудничали в конце восьмидесятых годов в журнале «Северный вестник»; в мартовской книжке за 1889 г., например, появились «Степь» Чехова и «Живые цифры» Успенского. Оба писателя участвовали в ряде сборников. Так, в сборнике «Памяти Гаршина» (1889) был опубликован рассказ Чехова «Припадок» и статья Успенского «Смерть В. М. Гаршина»; в сборнике «Помощь голодающим» (1892) были напечатаны «Из записной книжки» Успенского и глава из книги Чехова «Остров Сахалин». Чехов и Успенский могли знать друг о друге и из критических отзывов в печати и от общих литературных знакомых и друзей: В. Г. Короленко, А. И. Эртеля и др.

¹ В. Ладженский. Из воспоминаний об А. П. Чехове, Сб. «О Чехове», М., 1910, стр. 137.

² В. Зелененко. Таганрогская гимназия во второй половине 70-х, первой половине 80-х годов. Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, Чех., п. № 74, ед. хр. 1.

³ Письмо А. П. Чехова Д. В. Григоровичу 12 января 1888 г., т. 14, стр. 16.

⁴ Письма Г. И. Успенского А. С. Постникову 22—24 августа 1890 г. и В. Г. Короленко 17 октября 1890 г., т. 14, стр. 436, 446. Чехов включил в этот сборник такие значительные произведения конца восьмидесятых годов, как «Скучная история», «Володя», «Припадок», «Неприятность», «Княгиня» и др.

Однако было бы ошибочным на основании всего этого рисовать идиллическую картину отношений двух писателей-современников. Дело обстояло значительно сложнее. Они далеко не безоговорочно приняли друг друга, держались настороженно, даже несколько отчужденно.

Чехов встретился с Г. Успенским в переломный момент своей творческой жизни. Только что был пройден первый ее этап, завершившийся изданием сборника «Пестрые рассказы». Молодой писатель отходил от юмористических журналов, он был замечен в литературных кругах, к нему обратился с письмом Д. В. Григорович, его пригласили работать в журналы «Северный вестник», «Русская мысль»,¹ его «отвоевывали» для «Петербургской газеты», «Нового времени» Худяков и Суворин. Отмечая не без удовольствия тот неожиданный успех, который он имел в Петербурге в конце 1886 г., Чехов, однако, испытывает чувство неловкости. Он не удовлетворен своим творчеством, ощущает потребность создавать вещи серьезнее, значительнее; успех кажется ему незаслуженным.

В этот переломный период, расставшись без сожаления с беспринципными юмористическими журналами, А. Чехов искал своего пути служения обществу, своего места в литературе. Эти поиски были сложными, мучительными; молодой писатель делал порою ложные шаги. Таково было его участие в «Новом времени», дружба с Сувориным. Хотя ни один из рассказов Чехова, напечатанных в этой газете («Кошмар», «Скука жизни», «В суде», «Панихида» и др.), не только не совпадал по своему духу с «нововременской беллетристикой», но был глубоко чужд ей, хотя субъективно Чехов был далек от направления газеты, ее издатели и сотрудники, типа Буренина, Дьякова, хотя он и в личных беседах с Сувориным, и в письмах к нему отстаивал свою независимость, полемизировал по ряду общих и частных вопросов, но объективно его сотрудничество в «Новом времени» было проявлением политической незрелости, наивности писателя.

Знакомство Чехова с Г. Успенским произошло в конце 1887 г., когда имя Чехова уже неоднократно появлялось на страницах «Нового времени», что весьма неодобрительно было встречено прогрессивными писателями и критиками различных политических оттенков. В. Г. Короленко, сделавший «попытку свести» Чехова с Михайловским и Успенским, пишет в своих воспоминаниях: «Из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал, ... Михайловский один поддерживал разговор...

Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал: — Вы любите Чехова? Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал: Это хорошо... Но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора «Пестрых рассказов», была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь... Я помню, с каким скорбным недоумением и как пылливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно».¹

Нет оснований сомневаться в том, что В. Г. Короленко правильно схватил и передал «дух» этой первой встречи Успенского и Чехова. Думается, однако, что сборник Чехова «Пестрые рассказы», в который вошли наряду с беззаботными шутками, сценками («Хирургия», «Клевета») и такие обличительные, социально-психологические рассказы, как «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий», «На гвозде», «Хамелеон», «Тоска», «Горе», «Устрицы», вызвал у Успенского не только недоумение, но и заинтересовал автором сборника. Именно это, а не одну отчужденность почувствовал и сам Чехов. В одном из писем его читаем: «Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10½ часов утра до трех я сидел у Михайловского (критиковавшего меня в «Северном вестнике») в компании Глеба Успенского и Короленко, ... дружески болтали».²

Некоторая настороженность со стороны Успенского и Михайловского во время первой встречи объясняется участием Чехова не только в «малой прессе», но и в «Новом времени», отсутствием ясно выраженной политической позиции у писателя. Не случайно именно по этому вопросу вскоре Михайловский и Чехов обменялись письмами. Михайловский писал, что «Новое время» и юмористические журналы сделали свое дело (хотя грязь этих школ и не пристала к Чехову): писатель не разборчив, он совершает прогулки «по дороге, не знамо куда и не знамо зачем». Михайловский резко возражал Чехову, наивно полагавшему, что он делает прогрессивное дело, заменяя своими рассказами в «Новом времени» дрянные статьи и рассказы Буре-

¹ В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов. Собр. соч., ГИХЛ, М., 1956, стр. 91—92.

² Письмо А. И. Чехова М. П. Чехову 3 декабря 1887 г., т. 13, стр. 401.

¹ Сотрудничество Чехова в этом журнале состоялось лишь в 1890-х годах.

нина, Жителя, Эльпе и т. д. Напротив, по мнению Михайловского, своими рассказами Чехов даст лишних подписчиков и читателей «Новому времени», поэтому «прямо служит злу».¹

Нам ясно, что нельзя отождествлять Михайловского и Г. Успенского, что отношение Успенского к народничеству вообще и к одному из теоретиков его, Н. Михайловскому, в частности, было сложно. Но Чехов, особенно на первых порах, едва ли различал оттенки, скорее он объединял Михайловского и Успенского как людей одного лагеря, тем более, что ему были известны их личные дружеские связи.

Идя на свидание с Успенским и Михайловским, Чехов, в свою очередь, был настороже. Он был уверен, что рецензия на сборник «Пестрые рассказы», напечатанная полтора года назад в «Северном вестнике», принадлежала Михайловскому. Чехов ошибался. Рецензия эта, которую он назвал «самой ядовитой руганью»² и которая, по воспоминаниям современников (Горького, Бунина, Миролубова) долгие годы не переставала волновать Чехова, была написана не Михайловским, а Скабичевским. Но писатель недаром приписал ее Михайловскому. Как ни отличалась от будущих статей Михайловского о Чехове эта известная рецензия Скабичевского развязностью тона, как ни нелепо и оскорбительно было «пророчество» Скабичевского (автор «Пестрых рассказов» умрет под забором), но в рецензии этой³ передан был общий смысл отношения народников, и в первую очередь Михайловского, к молодому писателю как к бездумному, беспринципному писателю, растрчивающему свой талант на пустяки.⁴

Эта оценка народниками творчества Чехова могла настораживать писателя и по отношению к Успенскому во время первого свидания, как ни смягчалось оно дружеским тоном. «Они разошлись, — читаем в воспоминаниях Короленко, — несколько

¹ Письма Н. К. Михайловского А. П. Чехову, 1888 г., «Слово», сборник второй, М., 1914, стр. 216—218.

² Письмо А. П. Чехова Е. К. Сахаровой 28 июля 1886 г., т. 13, стр. 225.

³ «Северный вестник», 1886, № 6, «Новые книги» (без подписи).

⁴ Немного позднее Михайловский открыто поддержал Скабичевского, назвав справедливыми его мысли о поверхностном и бесцельном творчестве Чехова, о калейдоскопическом характере представленных им картин («Литературные воспоминания и современная смута», П. с. с., т. 7, СПб., 1909, стр. 122).

Это отношение имел в виду М. Горький, когда вспоминал отзывы Михайловского о Чехове восьмидесятых годов: «Авторитетное слово о Чехове, который «с холодной кровью пописывает», было принято на веру». «Едва ли был и есть писатель, к которому в начале деятельности относились бы так несправедливо, как к Чехову» (М. Горький. А. Чехов. Переписка. Статьи. Выказывания. ГИХЛ, М., 1951, стр. 35, 125).

холодно, пожалуй, с безотчетной нерасположенностью друг к другу».¹

А. П. Чехов в этот переломный момент своей творческой жизни с недоверием смотрел на тех, кто догматически преподносил современникам готовые выводы и решения. Так, об одном из теоретиков народничества В. В. Воронцове он писал: «Человечина угнетен сухою умственностью и насквозь протух чужими мыслями».² Критики Аристархов и Скабичевский возмущали писателя своими безапелляционными ответами на все вопросы. Им всегда «ведомо, кто прав, кто неправ».³ Подобного критика-догматика, рутинера, не знающего ни страданий, «какие неизбежны при серьезном душевном перевороте», ни мук одиночества, какие переживает всякий начинающий мыслить по-новому, по-своему, изобразил Чехов в рассказе «Хорошие люди» (1886). В ряде произведений («Драма», «Кошмар», «Скука жизни») он высмеял тех, кто проповедовал либерально-народническую теорию «малых дел» или удовлетворялся практическим ее применением. «Правоверный» народник Златовратский не вызывал его симпатий: «Не нравится Златовратский».⁴

Даже Л. Толстой, особенно притягивавший Чехова не только широтой показа жизни, остротой критики современной действительности и мастерством художника, но и своей «этической системой», вызывал уже у молодого Чехова глубокие раздумья. Позиция «учителя жизни», проповедника, готовые рецепты, которые давал Толстой, декларативные ответы его на вопросы: «Как жить?» «Что делать?» — заставляли Чехова испытывать сомнения в правильности пути, избранного великим писателем.

Боязнь догматизма, слепое следование авторитетам, нежелание давать читателям утопические или ложные программы приводили Чехова к другой крайности: к позиции «свободного художника», к отказу от каких бы то ни было решений вопросов в художественных произведениях. При этом нужно, конечно, помнить, что когда Чехов говорил о своем желании остаться в стороне от «узко-кружковой» борьбы, которую вела либеральная печать восьмидесятых годов, то он имел в виду «свободу от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались», свободу от «групповых пристрастий», ярлыков, господствующих

¹ В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов. Собр. соч., т. 8, ГИХЛ, М., 1955, стр. 92.

² Письмо А. П. Чехова А. Н. Плещееву 5—6 июля 1888 г., т. 14, стр. 131.

³ Письмо А. П. Чехова К. С. Баранцевичу 12 августа 1888 г., т. 14, стр. 148.

⁴ Письмо А. П. Чехова И. Л. Леонтьеву-Щеглову 22 марта 1890 г., т. 15, стр. 42.

теорий. В то же время Чехов признавал необходимость изучения жизни, исканий, выработки цельного философского, политического мировоззрения, отсутствие которого мешало ему, как понимал он сам, создать большое полотно — роман. Он с уважением относился к «святому времени», к 1840—1860 годам, когда «во главе изданий находились люди с ясно выраженной физиономией, люди, вроде Белинских, Герценов и т. п., которые не только платили гонорар, но и притягали, учили и воспитывали».¹

Одновременно с Чеховым Глеб Успенский тосковал о таких литературных руководителях. «Когда-нибудь» — говорил он, — будет написана целая глава в истории русской литературы о «бесприютности» литераторов 1880-х годов», «об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей».²

Г. Успенский был значительно более деятельной политической фигурой, чем Чехов. Он тянулся к объединению писателей, близких по идейно-творческой платформе. Он тяжело пережил закрытие «Отечественных записок» в 1884 г., расхождение Михайловского с редакцией «Северного вестника» в 1888 г.³ Занимая особую позицию в народническом движении, далеко не разделяя всей программы ни революционного, ни либерального народничества, не будучи активным практиком этого движения, Успенский, однако, выражал свои глубокие симпатии к видным деятелям народовольчества, цельным, подвижническим натурам: Г. Лопатину, В. Фигнер и др.; они волновали сознание художника (образ девушки «монашеского типа» в очерке «Выпрямила», неосуществленный замысел «Удалой добрый мото-

¹ Письма А. П. Чехова Я. П. Полонскому 18 января 1888 г., А. Н. Плещееву 23 января, 4 октября 1888 г., Д. В. Григоровичу 9 октября 1888 г., т. 14, стр. 17, 24, 177, 183.

² Письмо Г. И. Успенского В. А. Гольцеву 25 ноября 1888 г., т. 14, стр. 211.

³ Выход Михайловского из «Северного вестника», факт, глубоко взволновавший Успенского и Короленко, был неприятен и Чехову, хотя он находил претенциозным публичное, ширококвещательное заявление Михайловского об этом. В марте—апреле 1888 г. внимание Чехова было занято этим «событием», в письмах он то и дело возвращался к нему: «Поговорим подробно... о Михайловском». «Напрасно Михайловский огласил свой уход». «Откровенно говоря, мне грустно, что и Михайловский уже больше не работает в «Северном вестнике». Он талантлив и умен, хотя и скучноват был в последнее время; заменить его Протопоповым так же трудно, как заменить луну свечкой» (Письма А. П. Чехова А. Н. Плещееву 31 марта, 4 апреля, 15 сентября 1888 г., т. 14, стр. 67, 72, 169). Но при всем внимании Чехова к самому факту ухода Михайловского из «Северного вестника» писателю оставалось чуждо это «событие» как проявление определенной (и не принципиальной, с его точки зрения) внутрис групповой борьбы.

дец»). Аресты, высылки политических деятелей, литераторов, близких знакомых действуют на Успенского подавляюще, переживаются им как личные несчастья. «У меня вся жизнь прошла в утратах... Осталась одна виновность перед всеми ими, невозможность быть с ними..., осталась пустота, холод и тяжкая забота ежедневной нужды».¹ Как эти слова в письмах Успенского, скорбный тон их непохожи на констатирующие сообщения как будто бы стороннего наблюдателя Чехова: «Арестовано много литераторов, в том числе и всюду сующийся Гольцев».²

Пора сказать, что в позиции «свободного художника», которую в восьмидесятые годы пытался занять Чехов, была не только сила (стремление остаться независимым от реакционно-либеральной печати, искать самостоятельных решений), но и слабость, иллюзии молодого писателя, политическая его наивность: он полагал возможным отгородиться от политики. Известно, однако, что истинная свобода творчества заключается в органической связи художника с теми прогрессивными политическими силами, которые решают в его время судьбы страны и народа. Определенная ограниченность мировоззрения помешала Чехову, отказавшемуся от ложных теорий своего времени, увидеть исторически прогрессивные силы, и не только в восьмидесятые годы, когда они были еще в значительной степени потенциальны, но и накануне революции 1905 года. В период общественного подъема девяностых годов Чехову яснее стала невозможность печататься в реакционной газете «Новое время». Теперь уже он выдвигал мысль о необходимости подсказывать читателю определенные выводы, пропитывать художественные произведения, как соком, высокой целью.

Здесь важно подчеркнуть, что в этой эволюции писателя сыграло свою роль не только изучение им жизни, но и пример многих предшественников, в частности Глеба Успенского. Оказала свое воздействие и современная критика, особенно Михайловский.

В периодической печати второй половины восьмидесятых годов имена Г. Успенского и Чехова нередко оказывались рядом. При этом ясна была тенденция: «оторвать» Чехова от писателей типа Успенского, направить его по иному пути. Так, либерально-народническая «Неделя», полемизировавшая с Михайловским, представляла произведения Успенского как «дидактиче-

¹ Письмо Г. И. Успенского Л. Ф. Ломовской, нач. февраля 1884 г., т. 13, стр. 397—398. См. также письмо М. М. Стасюлевичу 7 ноября 1884 г., там же, стр. 393—394.

² Письмо А. П. Чехова А. С. Суворину 27 октября 1888 г., т. 14, стр. 210.

ские», не удовлетворяющие требованиям строгой эстетики. Здесь говорилось об Успенском как о художнике, ограниченном однопородностью попросов, отнятом «у искусства общественными стремлениями и заботами»; о Чехове же — как о молодом талантливом писателе, который «избег господства предвзятых точек зрения».¹

Реакционные критики в борьбе с либералами то использовали Успенского (его скептическое отношение к земскому самоуправлению, к «новому» суду и другим проявлениям «казового прогресса»), то упрекали его, так же, как и «Неделя», в клевете на крестьянство. В реакционной прессе откровенно высказывалась мысль, что 60-е годы «перепортили» многих писателей, в том числе Успенского. Он не создает уже «живых картин», а растрчивает талант на рассуждения, трактаты, только бы разбедерить «язвы ран» современности. Здесь брали Чехова «под защиту» от демократической литературы, в частности от Успенского, противопоставляя этих писателей друг другу. «Как бледны и искусственны в сравнении с работою г. Чехова работы Глеба Успенского и Короленки, беллетристов, которые изо всех сил тянут сказать что-нибудь «умное» своими очерками и, как всегда бывает в таких случаях, говорят только нечто натянутое и лишнее правды».²

¹ «Неделя», 1884 г., 18 марта, № 12 (Р. Дистерло. Г. И. Успенский), 1888 г., 8 ноября, № 45, 15 ноября, № 46, 24 декабря, № 52.

Достаточно вспомнить полемику «Недели» с Успенским в предыдущее десятилетие, когда писатель, увидев разложение «устоев», отказывался от идеализации крестьян (по словам «Недели» создавал мрачные картины деревенской жизни, «клеветал» на мужиков), и станет ясным, что критики «Недели» руководствовались при оценке писателей соображениями не только чисто эстетическими, но и политическими.

Евг. Гаршин в статье «Русская литература за 1886 г.» пишет в духе «Недели», что прекрасное дарование Гл. Успенского гибнет для истории русской литературы именно потому, что он отводит служебную роль художественным зарисовкам, «становится на публицистическую почву пропаганды своих идей», «портит свои произведения отступлениями в область голы публичистики» («Критические опыты», СПб., 1888, стр. 117—118). Подробнее по этому вопросу в статье Б. Козьмина. Литературная борьба вокруг Успенского («Новый мир», 1938, № 9).

² В. Буренин. Критические очерки, «Новое время», 1884 г., 16 марта, № 2891, 23 марта, № 2898; 1888 г., 4 марта, № 4316. Знаменательно, что позднее (после сахалинского путешествия, над которым постоянно будет издеваться Буренин) Чехов не получит у него уже такой восторженной оценки и будет уравниен с Успенским. Буренин выразит удивление и по тому поводу, что Успенский и Чехов «бегут в Сибирь» и что критики сравнивают такие «средние таланты», как таланты Успенского и Чехова, с Тургеневым, Толстым (В. Буренин. Критические очерки, «Новое время», 1891 г., 11 января, № 5341).

Отрывая Чехова от гражданской литературы, сознательно игнорируя искания писателя, современные Чехову критики стремились сблизить его творчество с творчеством импрессионистов, символистов, декадентов. Так, Д. Мережковский, например, утверждал, что Чехов «писатель с мистическим темпераментом», иррационалист, который в своих изящных музыкальных произведениях улавливает лишь мимолетные оттенки явлений, выражает неопределенные чувства. Чехов буд-то бы напоминает Бодлера, его произведения лишены, в противоположность Салтыкову-Щедрину, Некрасову, обличительных тенденций. Мережковский пытался приглушить и сатирическое, обличительное звучание произведений Успенского. Для него Успенский лишь «русский бытовой писатель», обладающий задушевым юмором,¹ подобно тому, как для Буренина «наиболее ценным в художественном отношении» материалом Успенского являются рассказы его произведения, в которых нет обнаженной тенденции и цель которых — «повеселить читателя курьезными сценами и нравами».²

Среди критических работ об Успенском и Чехове особое место занимают выступления идеолога народничества Михайловского, стремившегося завоевать обоих писателей для своего лагеря, использовать их в своих политических целях. В восьмидесятые годы критик вел в связи с этим борьбу на два фронта: против «Недели», «реабилитировавшей действительность», противопоставлявшей Чехова как своего «союзника» Успенскому, и против декадентской критики: «Г. Чехов — художник слишком умный, по самой натуре своей несклонный к ломанью, чтобы хотя бы на одну минуту увлечься всем этим взвинченным вздором. Это течение миновало его». Михайловский возражает Мережковскому, находившему у Успенского также черты импрессионизма, мистицизма.³

В этом факте нашли отражение противоречия самого Михайловского, на которые указывал В. И. Ленин: с одной стороны, слабость его философской и политической позиции (создание абстрактно-догматической субъективно-социологической «теории прогресса», воспарение в сферу «идеалов» желаемого, вместо изучения и научного объяснения социально-экономических процессов, реальных форм классовой борьбы на разных истори-

¹ Д. Мережковский. Старый вопрос по поводу нового таланта. «Северный вестник», 1888, № 11.

² В. Буренин. Критические очерки, «Новое время», 1884 г., 23 марта, № 2898, 24 февраля, № 2870.

³ Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. 2, стр. 52; Кое-что о г. Чехове. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 299.

ческих этапах); с другой стороны — сила, исторические заслуги «одного из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века»: горячее сочувствие угнетенному крестьянству, забота о просвещении народа, борьба против всяческих проявлений крепостнического гнета, бюрократии, уважение Михайловского к подполью и помощь ему в легальной печати.¹ Научная несостоятельность его философской и политической системы подвергалась, как известно, резкой критике русских марксистов, общедемократические же элементы деятельности Михайловского, «свободолюбивые блески публицистики»² его, позволили ему оказывать определенное воздействие на передовую молодежь 1870—1880-х годов. Этому влиянию немало способствовали и преследования Михайловского со стороны правительства за связь с революционными организациями и запрещение столь популярного среди передовой молодежи журнала, как «Отечественные записки» (1884), в котором Михайловский был «одним из руководящих членов редакции».³

Характер и степень воздействия Михайловского на писателей-современников: Успенского и Чехова и отход от него дают дополнительные черты для характеристики позиции, которую заняли Успенский и Чехов. Успенский не избегал влияния Михайловского. Он также возлагал большие надежды на интеллигенцию, которая сможет оберечь крестьянина от капиталистического пути или положить какой-то предел этому развитию, склонен был прикладывать готовый идеал («трудами рук своих») к действительности.⁴ Он, по словам ленинской «Искры», «был и остался народником в том смысле, что для него не было типа

¹ В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Перлы народнического прожектерства; Вульгарный социализм и народничество...; Народники о Н. К. Михайловском. Соч., тт. 1, 2, 6, 20.

² Г. М. Кржижановский. О Владимире Ильиче. Сб. «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», Госполитиздат, М., 1956, стр. 174.

³ «Правительственный вестник», 1884 г., 20 апреля, № 87.

⁴ Именно эти стороны творчества Успенского вызвали особое сочувствие Михайловского. Хотя он, как бы стараясь сохранить меру справедливости, говорит порою, что нельзя отождествлять Успенского с народничеством, но неоднократные публичные заявления о тесных дружеских связях с Успенским, восторженная оценка определенного рода произведений его должны были убедить читателя в том, что Успенский близок к его, Михайловского, доктринам. Так, он сводит сущность творчества Успенского к борьбе за индивидуальность (именно с этой позиции оценен им очерк «Выпрямил», делает Успенского своим союзником не только в полемике с «Неделей», но и с марксистами, особенно сочувственно относится к очерку «Неизлечимый», в котором интеллигенции отводится высокая миссия как силе, движущей прогресс. Вместе с тем Михайловский правильно отмечает демократическую направленность творчества Успенского, делает ряд частных интересных на-

человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при натуральном хозяйстве». Но глубокое изучение конкретной действительности раскрывало Успенскому многие объективные закономерности, предостерегало от увлечения субъективной социологией Михайловского. Писатель начинал понимать реальное положение народных масс в пореформенное время, безнадежность мечтаний о сохранении «любимого типа»¹ и «с иронической улыбкой» смотрел на некоторые иллюзии народников.²

В позиции, занятой Чеховым, был несомненный элемент полемки с Михайловским, «патриархом» народнической критики, которого писатель воспринимал в переломный период своего творчества как догматика. Известна была Чехову популярность Михайловского, угадывал он и стремление идеолога народничества завоевать его для своей «партии» и всячески сопротивлялся этому. В самом деле, уже в тоне первого письма опытного журналиста к молодому писателю было нечто гипнотизирующее, и в то же время чувствовалось желание польстить молодому самолюбию высокой оценкой его таланта, сравнением с Успенским. Михайловский настаивает на том, чтоб Чехов подписывался своим полным именем: «Есть, говорят, другой Чехов, да и вообще эта фамилия не редкая, а Вы — редкий. Прецедент — Глеб Успенский». «Ваша сила ясная, и в этой ясности речительство, что злу она не послужит, не может послужить».³

Однако Чехов в ответном письме⁴ не только не пошел на сближение с Михайловским, но дал отпор ему, отстаивая свою

блудений: в произведениях Успенского виден не только результат мысли художника, но и процесс ее; юмор его тоскующий, скорбный, внимание сосредоточено, краски сокращены до минимума. Но предвзятая точка зрения критика сказывается и в истолковании самого Успенского, будто бы не заботившегося вовсе о художественной форме, и других писателей, которым он противопоставляет Успенского (Тургенева, Островского), пренебрегая при этом противоречиями и сложностью этих писателей (см. статьи Михайловского: «Из литературной и журнальной заметки 1873 г.», «Сочинения Н. В. Успенского», «Литературные заметки 1878 г.», «Житейские и художественные драмы», «К характеристике Гл. Успенского», «Г. И. Успенский», «Мой промах», «Дневник читателя», «Отклики» XI, XXVI, «О драме Молчанова и об Островском», «Материалы для биографии Успенского», «Об исторической русской живописи и г. Александре Бенуа»).

¹ «По поводу смерти Г. И. Успенского», «Искра», 1902 г., 1 мая, № 20.

² См. работы В. И. Ленина, в которых даются ссылки на правдивое изображение Успенским картин жизни, на глубокие, тонкие наблюдения, превосходное знание крестьянства: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Развитие капитализма в России», «Капитализм в сельском хозяйстве» и др.

³ Письмо Н. К. Михайловского А. П. Чехову 15 ноября 1888 г., «Слово», сборник второй, М., 1914, стр. 217.

⁴ Содержание этого письма известно нам по второму письму Михайловского и одному из писем А. Н. Плещеева.

независимость. Больше того, мы замечаем, что Чехов как будто сознательно «дразнит» Михайловского и его сторонников. Он не прекращает сотрудничества в «Новом времени»¹ и продолжает создавать произведения «беззаботно-веселого» содержания. Написав, например, водевиль «Медведь», Чехов «кается»: «Ах, если в «Северном вестнике» узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ля-ля! Как ни стараюсь быть серьезным, ничего у меня не выходит!»²

Однако стремясь сохранить независимость, освободиться от опеки Михайловского и его сторонников, Чехов все же отдавал дань уму, таланту и опыту критика, видел его превосходство перед другими.³ Справедливость требует сказать, что неудовлетворенность Чехова в середине восьмидесятых годов своим творчеством была обострена «лагерем» Михайловского. Обвинения в беспринципности, равнодушии казались писателю оскорбительными; он называл их «клеветой»: «Беспринципным писателем, или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был».⁴ Но Чехов не мог не прислушаться к подобным обвинениям, особенно тогда, когда они исходили от влиятельного для своего времени деятеля — Михайловского.

Уже современники Чехова заметили определенное воздействие подобной критики на эволюцию писателя, готовы были отнести за ее счет те изменения, которые обозначились во второй половине восьмидесятых годов: переход от юмористических рассказов к большим полотнам, к постановке серьезных вопросов («Степь», «Скучная история» и др.). В одном из писем Чехова читаем: издатель журнала «Осколки» Лейкин «хочет бросить камешек в огород нигилистов, которые меня испортили (Михайловский)».⁵ Издатель «Нового времени» Суворин, пытавшийся сам воздействовать на Чехова, писал с досадой: «Губить Чехова стал именно Михайловский. А Чехов был тем поэтом, который поет, как птица, — поет и радуется».⁶ Михайловский также склонен был приписывать себе большую роль в творческой эволюции писателя.

¹ «Мои доброжелатели-критики радуются, что я «ушел» из «Нового времени». Надо бы поэтому, пока радость их еще не сгладилась, возможно скорее напечатать что-нибудь в «Новом времени» (А. С. Суворину, 3 апреля 1888 г., т. 14, стр. 70—71).

² Письмо А. П. Чехова Я. П. Полонскому 22 февраля 1888 г., т. 14, стр. 48.

³ В 1900 г. Чехов настойчиво предлагал избрать Михайловского почетным академиком.

⁴ Письмо А. П. Чехова В. М. Лаврову 10 апреля 1890 г., т. 15, стр. 52.

⁵ Письмо А. П. Чехова А. С. Суворину 3 ноября 1888 г., т. 14, стр. 218.

⁶ Письмо А. С. Суворина В. Розанову 15 июля 1904 г. «Письма А. С. Суворина В. В. Розанову», СПб., 1913, стр. 143.

Разумеется, это было преувеличением, здесь недооценывался процесс самостоятельных исканий, развития писателя, все более углублению изучавшего жизнь. Но здесь была и доля правды. Чехов не остался равнодушным к критике Михайловского и даже писал позднее, что «очень многим обязан ему».¹

Однако Чехову — писателю и врачу — ближе была позиция Успенского. Наблюдая жизнь, Чехов, как Успенский, старался понять объективный смысл ее процессов. Занятия естественными науками «знакомство с научным методом», по его собственным словам, обогатили его не только знаниями, но дали направление всей литературной деятельности.² Субъективный и предубежденный подход Михайловского, например, к явлениям жизни, к людям, к произведениям искусства был глубоко чужд Чехову, что наиболее прямо выражено им в таких произведениях, как «Леший», «Дуэль».

Но самостоятельность, независимость сказались у Чехова не только в отношении к Михайловскому, к современной критике, но и к Успенскому. Литературная деятельность Успенского, некоторые факты биографии писателя-демократа, гражданина, сама личность Успенского, человека исключительного обаяния, развитого чувства ответственности за судьбу родины, положение народа, — явились для Чехова образцом. И это нашло, как увидим позднее, отражение в литературной практике Чехова, особенно в переломный момент его творческой жизни (в конце восьмидесятых годов), когда формировались его творческие принципы и некоторые особенности его общественного «поведения».

Анализируя факты, подтверждающие высказанную мысль, мы, конечно, не можем забывать, что Чехов ни в какой мере не был «подражателем» Успенского; напротив, даже, как указывалось выше, он был несколько предубежден по отношению к нему как к другу Михайловского. Нужно помнить также, что Чехов приходил порою совершенно самостоятельно, своим путем к тому, что было выстрадано, также самостоятельно, Успенским. Писатели были свидетелями одних и тех же жизненных явлений, подходили к ним с демократических позиций, и «совпадения» в их наблюдениях, планах, намерениях были вполне закономерны. Однако это не исключало и расхождения, различия в восприятии ряда жизненных фактов, явлений, своего отбора и принципов изображения.

Прежде всего обратим внимание на то, что Чехов, как ранее Успенский, испытал на себе давление мешанской, «растеряев-

¹ Письмо А. П. Чехова П. Ф. Якубовичу-Мельшину 14 июля 1900 г., т. 18, стр. 368.

² Письмо А. П. Чехова Г. И. Россолимо 11 октября 1899 г., т. 18, стр. 243—244.

ской», среды, стремился, как и Успенский, «вытравить», «непрерывно до последней капли... истребить в себе все... качества», внедренные этой средой. Создание своей биографии, как биографии нового, свободного человека, выдавливающего «из себя по каплям раба», — было, по мнению Чехова, характерной чертой писателя-разночинца.¹ Успенский «строил» эту биографию в шестидесятые годы в содружестве с революционными демократами, Чехов — в последние десятилетия XIX в. не без влияния таких современников, как Успенский, Гаршин, Короленко.

Демократизм Успенского и Чехова (и Салтыкова-Щедрина) сказался в значительном расширении (в сравнении с литературой «доразночинского» периода и в сравнении с беллетристикой демократов шестидесятых годов) круга лиц и явлений, привлекающих внимание писателей. Читатель Успенского и Чехова не только продолжает изучать ту социальную среду, которая была известна ему по произведениям Тургенева, Гончарова, Толстого и других писателей, вышедших из так называемой «натуральной школы», но и получает новые оттенки в изображении помещиков, буржуазных дельцов, крестьян. Читатель приобретает новые представления о жизни, знакомясь шире с людьми различных социальных слоев и профессий. Недаром и Успенский и Чехов настойчиво советовали писателям ездить в третьем классе, чтобы лучше узнать жизнь, прислушиваться к рассказам мещан, мастеровых, «простого народа».²

Во многих очерках Г. Успенского прямо передается разговор в третьем классе или в деревенской избе, на постоялом дворе. Мужики, лакеи, швейки, богомолки, будочники, целовальники и др. становятся героями, порою рассказчиками его произведений.

Нужно сказать, что по широте охвата различных слоев общества, по разнообразию представленных в художественных произведениях социальных, профессиональных групп, людей различных званий, положений, возрастов, психологии, Чехов превосходит даже Успенского. От ребенка 3-х лет до умудренного жизненным опытом старика, от дьячка, послушника до архиерея, от солдата, унтер-офицера до генерала, от ученика гимназии до известного ученого, профессора университета, от маленького чиновника до тайного советника, от «мальчика», находящегося в услужении, до хозяев «амбаров», владельцев фабрик, миллионеров — таков диапазон наблюдений Чехова. Врачи, следовательно,

учителя, гувернантки, адвокаты, артисты, писатели, пастухи, аптекари, деревенские старосты, сотские, лакеи, трактирщики, маляры, железнодорожные рабочие, извозчики, пирульники, почтальоны и многие другие представлены в произведениях Чехова. Как и Успенский, он не обращался, например, к зарисовке «высшего света», что было обычной приманкой незначительных писателей восьмидесятых годов: Б. Маркевича и др. Основной принцип, которого придерживаются Успенский и Чехов, — рисовать то, что им хорошо знакомо.

Поэтому, например, у Успенского мы не находим изображения театральной среды, почти не обращается он, в противоположность Чехову, к миру художников, артистов и т. д. Здесь сказались также одна из характерных особенностей демократического творчества, личности Успенского: сознательное ограничение себя, сферы своих наблюдений. Народ во всех проявлениях его жизни, в разнообразии характеров, положений, Мырреповы, имеющие неограниченную власть, интеллигенция: от бездействующей, «скучающей», опошлившейся до ищущей, действенной, подвижнической — вот, что волновало, мучило писателя и не позволяло ему отвлекаться в сторону тех явлений, которые не содействовали прояснению основных вопросов, решению главных задач.

Этим же, вероятно, объясняется и тот факт, что мы не находим у Успенского-художника, обладавшего великолепным чувством юмора,¹ «чисто юмористических» произведений, подобных чеховским: «Мошенники поневоле», «Клевета» и др. Этой сосредоточенностью, целенаправленностью объясняется, на наш взгляд, также и «упорное отсутствие» у Успенского «психологических» рассказов, подобных чеховским: «Несчастье», «Дама с собачкой», «О любви».²

С этим же сознательным «самоограничением» связано, как нам представляется, и отсутствие в произведениях Успенского занимательной интриги, развернутых пейзажей, описаний обста-

¹ Н. К. Михайловский, знавший Успенского в юности, в период создания первых его произведений, вспоминал, что Успенский «блистал заразительным исцелением» («Материалы для биографии Г. И. Успенского», Посл. соч., т. 2, стр. 175).

² Уже В. Г. Короленко обращал внимание на то, что у Успенского нет сюжетов, где женщина играла бы главную роль, и объяснял это тем, что «внимание художника было направлено на другие стороны человеческих отношений» (Письмо В. А. Гольцеву 11 марта 1894 г., Собр. соч., Гослитиздат, М., 1955, т. 10, стр. 217).

¹ Г. И. Успенский. Автобиография, т. 14, стр. 576—580. Письмо А. П. Чехова А. С. Суворину 7 января 1889 г., т. 14, стр. 291.

² Н. Д. Телешов. А. П. Чехов. Сб. «Чехов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М., 1954, стр. 411; А. Федоров. А. П. Чехов. Сб. «О Чехове», М., 1910, стр. 288.

новки, скупая портретная живопись. Успенский, по словам А. Серафимовича, «словно боялся ярких красок».¹

К произведениям Успенского, быть может, больше всего подходят слова: «они написаны кровью». Поэтому к ним нельзя подходить «спецификаторски», с установленной эстетической меркой. Особенности жанра, манеру изображения необходимо понять в связи с тревожной мыслью, с горячими чувствами, «больной связью» писателя.

Знаменательно, что в ряде произведений девяностых годов («Мужики», «Остров Сахалин» и др.) Чехов следует Успенскому, как увидим позднее, в этом «самоограничении». Но воспитанный на традициях не только Успенского, но и других писателей-реалистов: Тургенева, Толстого, творчески осваивая их эстетические принципы, Чехов вносил в свои произведения и те элементы, от которых порою отказывался Г. Успенский.

Значительно также для понимания эволюции обоих писателей, своеобразия творческого метода каждого из них то обстоятельство, что рассказы молодого Чехова близки во многом к ранним произведениям Успенского, в которых нет еще тенденции к «самоограничению».

Критики восьмидесятых годов, отдававшие предпочтение произведениям Успенского первого периода творчества, считали его знатоком мещанства, как Островского знатоком купечества, а Тургенева — дворянства, и называли даже «Гомером нашего мещанства».

Такие рассказы и очерки Г. Успенского, как «Идиллия», «Гость», «Из чиновничьего быта», «День нужды и скуки», «Бойцы» и др., печатавшиеся в журналах 1860-х годов (в «Зрителе», «Будильнике», «Искре»), повторенные в сборниках семидесятых годов или в первом собрании сочинений 1883 г., — воспроизводили монотонную, неподвижную провинциальную жизнь, тусклые будни обывателей, их мелкие интересы и заботы, пустые разговоры. Они близки ко многим ранним чеховским рассказам, в которых рисуется застойная мещанская и чиновничья среда, изображаются нудные, умышленно убогие обыватели, мертвящая скука, пошлость («Невидимые миру слезы», «Муж», «О драме», «Сонная судья» и др.).

Близки рассказы молодого Чехова, в центре которых обычно самое мелочное обстоятельство (закуска, лист в передней начальника, гвоздь, восклицательный знак и пр.), ранним произведениям Успенского не только по тематике и авторской оценке,

но и умению наблюдать и улавливать в «тягостной обыденщине»,¹ в будничном — общее содержание, «суть», но и по многим элементам творческого метода.

И это должно быть объяснено, прежде всего, единым предметом изображения (застойная мещанская среда мало изменилась к восьмидесятым годам со времени юности Успенского), общей реалистической направленностью творчества писателей-демократов, склонностью их к обличению, чувством юмора, присутствием и тому и другому. Многие очерки и рассказы Успенского, появлявшиеся первоначально на страницах юмористических журналов, были в последующие десятилетия образцом для их сотрудников. Но эпигоны Успенского не сумели подняться в своих «сочинениях» до уровня своего предшественника; не хватало знания жизни, наблюдательности, способности обобщать; мельчали темы, оплошались приемы изображения.

Молодой же Чехов обращался к первоисточнику — к самой жизни, и тем самым наследовал уже традиции Успенского; был у обоих писателей также литературный пример — творчество Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Наследуя принципы реалистического письма этих писателей, Успенский и Чехов искали свои индивидуальные методы изображения будничного, обыкновенного. Они высмеивали тех, кто увлекался исключительным, необычным, прибегал к штампам, не умел привести в соответствие эпизоды, характеры, авторские описания, тех, кто увлекался «красотами стиля», злоупотреблял «изобразительными средствами».

Так, Успенский пародирует современных ему «сочинителей», создавая образ обывателя, чиновника Чернилова, занявшегося «литературой» и написавшего очерк о том, как поймали вора: «Мрак заметно бежал на землю, и на небе догорали последние, позабытые закатившимся солнцем лучи, окрашивая тонкими пурпурными штрихами края облаков, когда будочник Иван Федосеев встретил на заборе хищника».

— Стой, — подлец! — энергически произнес будочник, неколеблющейся рукой хватая вора за полу, и вдали, в соседнем саду тысячами переливов зазвучало эхо: «Подлец!» — говорили деревья, обнимая друг друга... «Подлец!» — прозвучала даль... «Подлец!» — замерло далеко, среди чистого поля, среди трав и благоуханий... У забора завязалась драка, и скоро прозвучала пощечина... Этот новый звук, словно ракета, невидимо взрывающаяся ввысь и ниспадающая каскадом брильянтовых огней, сыпался по каждому лепестку соседнего сада, выпорхнул в бес-

¹ А. Серафимович. Высказывания автора. Собр. соч., Гослитиздат, М., 1947, стр. 354.

¹ Г. И. Успенский. Разоренье, т. 3, стр. 336.

предельное пространство, где подхватили его крылатые духи и унесли к синему морю. Все это как пельзя лучше гармонировало с картиной вечера чудного, очаровательного, когда небо как бы просилось на землю, а земля как бы хотела на небо. Не потому ли и вора тянуло на забор!»¹

Таких заболтавшихся сочинителей или краснобаев-адвокатов не раз изображал и Чехов с таким же едким юмором. В то же время у молодого Чехова много «чисто пародийных» произведений, высмеивающих и трафаретные сочинения современных писателей («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.»), и запоздалых эпигонов романтизма («Тысяча одна страсть, или страшная ночь»), и авторов «уголовных романов» («Шведская спичка»), «святоточных рассказов» («Страшная ночь»). У Успенского нет собственно пародийных произведений; его пародии включаются в ткань художественного произведения и, таким образом, нежизненному, напыщенному и литературно безграмотному, претенциозному описанию Успенский противопоставляет свое простое, правдивое изображение серой, однообразной, скучной жизни обывателей, жизни, лишенной значительных событий и ярких красок.²

Особенности зарисовки мешанской среды, мелочных, незначительных людей, а также композиция ранних рассказов Успенского и Чехова сходны между собой. Вот обычное их построение: авторское вступление, в котором обозначено типичное для обывателя место действия: комната, кухня, двор, улица, рынок, вагон железной дороги, или дано время действия, представлены персонажи. Бóльшей частью в этом вступлении даются унылые тона, соответствующие содержанию жизни обывателя: «Осень тянулась долго». «Была осень. По небу бродили сероватые тучи и медленно сыпали на мокрую грязную землю хлопья рыхлого снега. У растворенных ворот одного небольшого домика в три окна стояли два чиновника». «Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают... Облака табачного дыма... в воздухе, на лицах, в пении комаров тоска».³

В ряде рассказов писатели отказываются от описания природы, ограничиваясь только местом действия («На вокзале

Николаевской железной дороги встретились два приятеля»¹), так как пейзажи здесь диссонировали бы с невосприимчивыми к красоте природы людьми: таковы рассказы Успенского «Гость», «День нужды и скуки», многочисленные чеховские рассказы: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Маска» и др.

В ходе повествования авторские описания лаконичны; они напоминают (особенно у Чехова) ремарки в драматических произведениях. Но детали, характеризующие мешанский быт, тщательно отобраны: в углу лампадка, расписанные яйца и просфоры в бумажках на красном кивоте, на полу чистые половики.² «Стены украшены премиями «Нивы», видами Венеции и портретами писателя Лажечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами».³

Описания эти прерываются диалогами действующих лиц, из которых особенно явственно выступают бедность впечатлений, убожество мысли и речи обывателей. Ироническое отношение авторов к мешанскому существованию выражено в торжественном тоне повествования, контрастирующем мелочности изображаемой жизни, или в объективно-спокойном тоне автора, оттеняющем незначительные с его точки зрения «волнения» героев.

Финал подобных рассказов дает логическое завершение ничтожного «события», подытоживает впечатления о действующих лицах, характере их жизни; яснее, чем в ходе повествования, выражается здесь ирония автора (см., например, «Фельетон»: «Скандал» Успенского, «Смерть чиновника», «Торжество победителя» Чехова).

Разумеется, есть в ранних рассказах Чехова и, в частности в финалах, нечто отличающее их от рассказов Успенского. Так, в сюжетной основе многих юмористических рассказов Чехова лежит анекдот, к которому редко прибегает Успенский.⁴ Соответственно, в развитии действия имеются неожиданности, прямые несоответствия. Например, в рассказе «Смерть чиновника» незначительное обстоятельство в начале: чиновник чихнул — ведет к несоответствующему ему «трагическому» финалу: пришел домой, «лег на диван и... помер». В рассказе «Случай из судебной практики» адвокат с таким воодушевлением, так

¹ А. П. Чехов. Толстый и тонкий, т. 2, стр. 10.

² Г. И. Успенский. Идиллия, т. 1, стр. 15.

³ А. П. Чехов. Невидимые миру слезы, т. 3, стр. 250.

⁴ Исключение составляют рассказы такого типа, как «Задача» (1867 г.);

В. В. Буш, исследовавший процесс работы Успенского над некоторыми текстами, сказал о такой закономерности, которую улавливали еще современники писателя: «уничтожение целого ряда юмористических эпизодов в первоначальных редакциях произведений», «Глеб Успенский (в мастерской художника слова)», Саратов, 1925, стр. 56.

¹ Г. И. Успенский. Сторона наша убогая, т. 1, стр. 364.

² Интересно, что к этому методу включения в ткань художественного произведения пародии на неудовлетворяющие писателя литературные явления пришел и Чехов позднее: «Драма», «Ионыч» и др.

³ Г. И. Успенский. Зимний вечер (из чиновничьего быта), Идиллия (из чиновничьего быта), т. 1, стр. 346, 15.

⁴ А. П. Чехов. Суд, т. V, стр. 121.

убедительно защищая подсудимого, что растрогал всех, в том числе и мошенника Шельмцова, который сознался в совершенном преступлении. Часты алогичные сочетания и в речи персонажей Чехова. Они даны как выражение несообразных понятий, путаницы в сознании: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтоб выделять ногами кренделя». «Я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть».¹ В чеховских рассказах начало и финал порою почти дословно совпадают. В начале рассказа «О драме» два друга «сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах». В конце: «Приятель выпил и заговорил о Шекспире». Ирония Чехова становится очевидной при сопоставлении этой рамки рассказа с центральной частью его — единственным событием: один из приятелей оторвался от беседы по этическим и эстетическим вопросам, чтобы высечь племянника.

В ранних рассказах Успенского, в «Нравах Растеряевой улицы» к обличительным авторским интонациям прибавляются порою интонации лирические, роднящие писателя с Гоголем («Шинель»). Так, в «Провинциальных эскизах», нарисовав неприглядную картину жизни маленького чиновника, писатель заключает: «В комнате царствовал холод, запах водки, и валялся одинокий беззащитный человек». В «Нравах Растеряевой улицы» читаем: «Человек свежий при взгляде на эту женщину, неминуемо должен был чувствовать боль в сердце и глубокую грусть».²

Чехов настойчивее стремился в ранних произведениях избегать выражения субъективных авторских чувств, но и у него порою прорываются лирические интонации, когда речь идет об одиноких, несчастных, изуродованных нудной жизнью людях: «А дождь все лил и лил... Холод становился все сильнее и сильнее, и, казалось, конца не будет этой подлой темной осени... Весна, где ты?» — так заканчивал Чехов рассказ «Осенью».³

Созданию лирической атмосферы, или атмосферы взаимопонимания автора и читателя содействовали у Успенского постоянные обращения к читателю (они характерны и для «позднего» Успенского). В этих обращениях порою обнажались авторские намерения, планы: «Оставим на время Прохора Порфирыча... и будем рассказывать о других растеряевских «замечательных личностях». «Мы узнаем его постепенно, и как ни удивительно будет это для читателя...». В них были прямо выражены ува-

¹ А. П. Чехов. Смерть чиновника, т. 1, стр. 39; Случай из практики, т. 2, стр. 182; Свадьба, т. 11, стр. 116; Депутат, или как у Дездемонова 25 рублей пропало, т. 2, стр. 238.

² Г. И. Успенский. Провинциальные эскизы («Одиночество») «Нравы Растеряевой улицы», т. 2, стр. 295, 154—155.

³ А. П. Чехов. Осенью, т. 2, стр. 289.

жение к читателю, заинтересованность в нем автора. Порою, как будто не совсем доверяя тому, что читатель поймет его, Успенский «расшифровывал» намек, давал яснее почувствовать свое отношение, свою оценку. Так, сказав, что многие, в том числе и Марфа, завидовали житию г-жи Ивановой, Успенский пишет: «Но читатель поймет, кому из них больше можно завидовать».¹

Чем дальше развивалось творчество Чехова, тем настойчивее изгонял писатель из своих произведений прямые обращения к читателям. Но в раннем периоде они встречаются довольно часто и, большей частью, служат средством создания комического эффекта. Например, в рассказе «Клевета» Ахинеев сам своим поведением способствовал распространению сплетни о себе, но он не понимает этого, ищет виновника, оклеветавшего его: «Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев... — Кто же? — спросим и мы читателя».² Чехов ставит здесь читателя, как во многих юмористических рассказах, водевилях, в положение человека, которому, как и автору, видно, ясно то, что не понимают действующие лица. Это одно из проявлений комического у Чехова.

Специфика юмора, сатиры Успенского яснее всего проявляется в портретных зарисовках. Писатель обычно выбирает одну выразительную деталь, порою деталь одежды, и делает эту деталь определяющей, характеризующей и социальную среду, и внешний и внутренний облик персонажа, подобно тому, как у предшественника Успенского — Гоголя — нос, усы, талии определяли ничтожных, чванливых, мелочных людей. Часто в дальнейшем повествовании Успенский просто заменяет этой деталью самое действующее лицо, чем достигает то комического эффекта, то сатирического «звучания» образа: «Открывается форточка и вылезает бабья голова в беловатом повойнике». «Повойник всовывает голову назад». «Повойник все смотрит в форточку». «Повойник с трудом втягивает в комнату свои жирные плечи».³

В юмористических рассказах Чехов также пользуется подобным приемом при создании социальной, психологической характеристики, комических эффектов. Так, например, в рассказе «Лишние люди» (1886) единственной приметой, характеризующей дачника — статского советника — становятся рыжие панталоны: «Это верно, что дорого, — вздыхают рыжие панталоны».

¹ Г. И. Успенский. Нравы Растеряевой улицы; По черной лестнице, т. 2, стр. 96, 9, 498.

² А. П. Чехов. Клевета, т. 2, стр. 30.

³ Г. И. Успенский. Фельетон (из провинциальной жизни), т. 1, стр. 420—421.

«Зайкин прощается с рыжими панталонами». «Рыжие панталоны поднимают глаза к небу и глубокомысленно задумываются».¹

В рассказе «Флейта и контрабас» душевный склад персонажей — музыкантов — приведен в соответствие с музыкальным инструментом. Хотя в рассказе названы имена, но автор почти не пользуется ими, заменяя их словами: флейта, контрабас: «Какую субботу контрабас завивался, надевал галстук бантом и уходил куда-то глядеть богатых невест. Возвращался он от невест поздно ночью, веселый, возбужденный, в подвыпитии». «Флейта страдала, ... болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала». «Нежную, воспитанную флейту стало корбить на первых же порах».²

Здесь же скажем, что к этому методу Чехов в зрелый период творчества будет прибегать редко, в то время как Успенский постоянно использует его и в последующие десятилетия своей деятельности. Рисуя, например, в очерке «Большая совесть» (1873) атмосферу бисмарковской Германии, Успенский характеризует немецких офицеров внешними деталями: палаши, каски, усы, козырек, под которым «в тупом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя». В портретной «повсюду шевелятся усы, одни другим отдают честь. ... Спросите любого из этих усов о его враге и полнубойтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь».³

В очерке «Без определенных занятий» (1881) образ бюрократа находит себе такую замену: «За большим столом сидит лицо в мундире».⁴ Успенский не только сохраняет, но и разовьет позднее эту манеру своего восприятия и художественного изображения, использует ее, как Салтыков-Щедрин, в целях сатирического показа явлений жизни и людей. Слово «восприятие» употребляем здесь не случайно. Интересно, что не только в художественных произведениях, но и в частных письмах Успенского встречаем такую форму сатирического обобщения. Вот, напри-

мер, как аргументирует он свое нежелание остаться на службе: «Подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, — а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов».¹ К такому «щедринскому» методу гротеска будут прибегать, как известно, и Горький («Город желтого дьявола»), и Маяковский.

Такую гротесково-сатирическую функцию выполняет у зрелого Успенского образ нескороемого чугунного шкафа («Не все коту масленица», 1887), заменяющего понятие «крупной купонной аристократии». Писатель изображает вечер у одного из нескороемых шкафов, нарядженного в шелк и бриллианты. Супруга его, также осыпанная бриллиантами, выслушав музыку «нанятого» знаменитого музыканта, сама пожелала сыграть: села плотно в кресло, и в подушке кресла «заиграло и забарабанило». «Все нескороемые шкафы пришли в неопишемый восторг; они застучали своими чугунными дверями, загрохотали скобками, зацелкали секретными замками — словом, неистово зааплодировали».²

Успенский, предупреждая упреки критики в карикатурности, «выдуманности» подобного изображения, настаивает на том, что карикатурно и смешно само реальное обстоятельство: соприкосновение «купонного человека» с музыкой, с искусством вообще. Здесь, по словам Успенского, выявляется «сущность купонного строя жизни: «купонный человек» берет все готовое» («стоит только сесть на эту самую музыку, и музыка готова»), все покупает, является «единственным властителем» всех благ, создаваемых народом.

Обратим внимание на то, что чеховский рассказ «Тапер» (1885) близок по тематике и сюжету к этому произведению Успенского, написанному через два года. Чехов также показывал зависимость искусства от имеющих власть и деньги — буржуазных и дворянских аристократов, бесправное положение служителей искусства. В рассказе Чехова тоже был изображен музыкант, «нанятый» на вечер (свадьбу) в купеческий дом. Но у Чехова не было, в противоположность Успенскому, пространных

¹ А. П. Чехов. Лишние люди, т. 5, стр. 76—82.

² А. П. Чехов. Контрабас и флейта, т. 4, стр. 417—420.

³ Г. И. Успенский. Большая совесть, т. 4, стр. 334—335.

⁴ Г. И. Успенский. Без определенных занятий, т. 7, стр. 167.

Говоря, например, в «Разоренье» о замужестве провинциальной девушки как единственном выходе для нее, Успенский пишет: иначе она должна «весь век поливать цветы и утрачивать румянец». Дальше слово «румянец» выступает заменой Софьи Вас. Печкиной как единственный признак, характеризующий ее: «Румянец этот первоначально был «поражен» «счастьем», видя его в 45-летнем Папле Иваныче, и стал громко и горько плакать; но когда был поставлен под венец и спрошен: «согласен ли?» — то отвечал, что «согласен». После этого он перестал плакать, сказал себе: «Ну, что ж!» — окаянел, одеревял и, в качестве пустого сосуда, начал наполняться интересами супруга» (т. 3, стр. 70).

¹ Письмо Г. И. Успенского Н. К. Михайловскому 14 марта 1876 г., т. 13, стр. 192.

² Г. И. Успенский. Не все коту масленица, т. 11, стр. 480.

описаний «хозяев положения»; он давал лишь то лаконичную (впрочем, тоже по-гоголевски сатирическую) характеристику жениха — купеческого сына («свинья в ермолке и моветон»), то портрет «толстой павы», багровой, в три обхвата, то унижительную для тапера манеру обращения с ним отца невесты («любезный»). Все внимание Чехова было направлено на раскрытие душевного мира талантливого музыканта, впечатлительного, мыслящего юноши, поставленного в современной буржуазной действительности в положение неудачника («метил в композиторы, а попал в таперы»), лакея, раба, которому «у купцов тыкают и дают на чай».¹

Успенский не ставит задачей раскрыть все богатство натуры «знаменитого пианиста», принужденного продавать свое искусство. Писатель дает лишь то, что важно для общей его концепции: отчужденность этого героя от «общества несгораемых шкафов», поэтому он, единственный, сохраняет в произведении человеческий облик среди людей, превращенных в вещи.

Знаменательно, что в изображении народа Успенский будет придерживаться того же принципа, но «с другим знаком». Этот принцип явится уже средством не сатирической, а сочувственной характеристики. Успенский покажет «обратное» превращение неодушевленных предметов в людей (такими «в современной купонной жизни»² считают тружеников). Квитанция, мертвые, скучные статистические данные («четверть лошади», «ноль целых», «одна сотая»), цифры, дроби будут одушевлены Успенским в картинах народной жизни. Квитанция явится воплощением трагической судьбы матери-швейки и ребенка; книжка Чехов «вберет» не только прорву денег, но и «прорву» человеческих несчастий, олицетворит разорение людей из народа.³

¹ А. П. Чехов. Тапер, г. 4, стр. 430—435.

² Г. И. Успенский. Дополнение к рассказу «Квитанция», т. 10, кн. вторая, стр. 180.

³ Здесь же отметим, что хотя у Чехова мы не найдем использования этого принципа изображения, но отголоски сочувствия Успенскому и понимания закономерности его метода чувствуются в таком, например, рассказе, как «Крыжовник». Рассказчик Иван Иванович, взволнованный неустойчивым действительности («кругом бедность невозможная, теснота, вырождение»), улавливает в мертвых статистических данных страшные трагедии живых человеческих существ; с возмущением и болью говорит он об отсутствии общественного противодействия, о мешанской успокоенности: «Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятнадцати тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился... Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания». т. 9, стр. 273.

В восьмидесятые годы проблема народа, на которой сосредоточил свое внимание Успенский, еще не была центральной проблемой в творчестве Чехова (такой она станет для него в девяностые годы). Но в ряде рассказов — «Темнота», «Злоумышленник», «Тоска», «Горе» — молодой писатель изобразил людей из народа темными, бесправными, несчастливыми. Изучение жизни приводило Чехова к созданию правдивых, трезвых сценок из народной жизни в духе Г. Успенского и беллетристов-шестидесятников: Слепцова, Н. Успенского и др. Хотя Чехов не делал еще в это время широких обобщений, представленные им «осколки жизни» заставляли читателя задуматься над положением народа.

Знаменательно, что многие сюжеты этих чеховских рассказов то следуют за некоторыми очерками Успенского, то предваряют их. Нельзя утверждать, что это было осознанным творческим взаимодействием писателей, но интересно отметить такого рода «совпадения», так как сами по себе они уже свидетельствуют о выборе художниками-реалистами типичных явлений. На этих примерах яснее можно увидеть сходство и отличие метода двух писателей. Приведем несколько примеров.

В конце июля 1885 г. в «Петербургской газете» был напечатан рассказ Чехова «Злоумышленник», через несколько месяцев в «Русской мысли», в очерке «Хорошего понемножку» Г. Успенский рассказывал о мировом суде, который «привык» считать делом не заботу о живых людях, а сбор гербовых марок. Писатель заключал, что судебные дела возникают именно потому, что интеллигенция и народ «отвыкли говорить друг с другом на человеческом языке... один говорит об одном, а другой — совершенно о другом, точно глухие».¹ А еще через несколько месяцев в «Петербургской газете» был напечатан чеховский рассказ «Ты и вы», в котором, так же как в «Злоумышленнике», писатель изображал следователя и мужика, не понимающих друг друга. Знаменательно, что Успенский и Чехов для раскрытия этой темы взаимного непонимания интеллигенции и народа избирают именно такую ситуацию, такое соотношение действующих лиц: следователь и мужик; становится ясным, что это взаимонепонимание не является нейтральным или безвредным для мужика (подспудно это же дано в рассказе Чехова «Темнота», 1887).

Итак, центральная мысль и ситуация оказываются у двух писателей-современников сходными. Но если Успенский эту мысль высказывает в очерке прямо, как результат обобщений

¹ Г. И. Успенский. Хорошего понемножку, т. 9, стр. 551—552.

многократно наблюдаемых явлений (не случаен здесь подзаголовок «Деревенские размышления»), то Чехов художественными зарисовками заставляет прийти к той же мысли самого читателя. Простые до наивности (как говорил Горький) юмористические сценки рисуют у Чехова темных, примитивных по своему сознанию «злоумышленников» и нетерпеливо раздраженных, подозрительных по отношению к мужикам, не понимающих их следователей. «Фокус», как в драматическом произведении, оказывается здесь в самом столкновении действующих лиц, в их характерах и речи. И как в драматическом произведении, автор скрыт здесь, о нем напоминают лишь лаконичные описания и отдельные реплики, похожие на авторские ремарки в пьесе. Но читатель должен вдуматься во всю художественную систему рассказа, чтобы понять отношение автора к изображаемому. Путаная, косноязычная речь свидетеля Филаретова («Ты и вы») и «злоумышленника» Дениса имеет, однако, свою внутреннюю логику, свою доминанту, которые связаны с жизненной практикой этих героев и которые остаются не понятыми следователями, так как расходятся с их логикой, с их жизненной практикой. В свою очередь, канцелярская речь и логика рассуждений следователя, стоящего на страже «законов», непонятна мужикам.¹

Это несоответствие не единственное в названных рассказах. Здесь дело не только в том, что два человека, «беседуя» между собою, говорят о разном, «точно глухие». Несоответствие и в том, что в роли судебного следователя, в роли, которая требует наблюдательности, внимания к людям, гуманности, оказывается человек, лишенный этих качеств, формально, бездушно исполняющий свои обязанности. Несоответствие и в мелочности (с точки зрения «злоумышленника») поступка (отвинтил гайку) и возможных последствий (крушение поезда), размеров наказания (попал под суд).

Как не соответствует нормальному представлению о следователе тот следователь — сухарь, бюрократ, которого изображает Чехов, так не соответствуют подлинному представлению о человеке — разумном существе, понимающем окружающее, причины

¹ Отметим, что нечто аналогичное видим мы в одном из эпизодов «Разоренья» Успенского. «Величественный» в суде Шапкин доказывает бабе ее виновность, пользуясь при этом такими словами: кассация, идея мирового института, апелляция и т. д. Он приговаривает бабу к штрафу за собаку, которая напала на старосту и писаря. Баба же не понимает Шапкина, отстаивает свое право иметь собаку: «Ну как мне без собаки возможно? Что же таперича, ежели я ее на цепь-то посажу, нешто она мне станет помочь давать... Спусти ее на ночь, она не стечет, а убечь норовит... Ну что же я с малыми ребятами?» (т. 3, стр. 89).

и следствия своих поступков, — чеховский «злоумышленник» Денис, свидетель Филаретов.

Несоответствие — это один из обычных источников комического в чеховских юмористических рассказах; в то же время это и форма передачи авторского отношения, в частности, к тому, что представляется писателю «отклонением от нормы» (по его словам). Это и форма выражения авторской «нормы», так как Чернышевский справедливо замечал, что только тот писатель, который носит в своей душе идеал, может увидеть смешное, бессмыслицу, ненормальность в жизни.

Интересно, что юмористические рассказы Чехова о народе отличаются от юмористических же рассказов писателя о чиновниках, обывателях. В них мы чувствуем не только осуждение, но и сочувствие; они принимают порою лирический, драматический характер. Таков, например, рассказ «Горе» (1885), о котором современник Чехова — поэт Л. И. Пальмин — сказал: «Странное впечатление производит этот полный жизненной правды очерк: становится и смешно и грустно».¹

В центре этого рассказа ситуация, близкая к очерку Г. Успенского, написанному через три года, — «Взбрело в башку» (1888). Судя по воспоминаниям Короленко, Успенский наблюдал в жизни эпизод, аналогичный тому, что зарисован в чеховском рассказе «Горе», и это дает основание говорить о жизненной основе произведений писателей-реалистов. Токаря Григория Петрова в рассказе Чехова и Ивана Алифанова в очерке Успенского постигает несчастье: они отмораживают руки. Эта катастрофа заставляет их задуматься над своей жизнью, оглянуться на пройденный путь, осудить себя за пьянство. Оба они жаждут жизни, труда, оба жалеют своих жен, испытывают чувство вины перед ними.

Успенский, как и Чехов, показывает, что трагичны не столько эти катастрофы, сколько повседневная жизнь людей из народа. Быть может, случайно, что жена токаря умерла именно по дороге в больницу и тогда же, заблудившись во время метели, отморозил руки и ноги токарь. Но не случайна, типична вся несчастливая жизнь токаря и его жены у Чехова, как крестьянина Алифанова и жены его у Успенского.

Создавая рассказ на драматическую тему, молодой Чехов не лишил его, однако, юмористических черт. На это следует обратить внимание тем более, что в сравнении с очерком Успенского рассказ Чехова более насыщен трагическими обстоятельствами: в нем не одно, а два несчастья (заглавие «Горе»

¹ Письмо Л. И. Пальмина А. П. Чехову 27 ноября 1885 г., А. П. Чехов, т. 4, стр. 602.

в равной степени относится и к смерти жены и к внезапно наступившей инвалидности токаря). Казалось бы, сам сюжет не давал основания автору для юмора. И Успенский в своем близком по сюжету очерке ведет повествование в серьезных тонах, не позволяя себе чем-нибудь разрушить складывающегося у читателя впечатления трагического. Это связано, разумеется, с идейной позицией писателя. Успенский здесь не столько высказывает сочувствие Ивану Алифанову, но, в соответствии с найденной им в это время «хитроумной механикой народной жизни», поэтизирует «нравственные основы» своего героя, его юношескую любовь к Аннушке, порицает разрушающее влияние города на трудового человека, оторвавшегося от земли.

Этого нет у Чехова, но нет у него и авторского раздумья о «недосуге», об экономических корнях несчастий человека из народа («о неурожае», например). Токарь-Петров у Чехова не испытывает благотворной «власти земли», не мечтает, как Иван Алифанов, «о счастья труда в поле, в лесу, в доме». Он показан умельцем (поэтому особенно страшно то горе, которое его постигло), но «беспечным лежебокой», «пьянчужкой», «непутевым мужиком», человеком темным, который не понимает, как «злумышленник» Денис и многие герои Успенского, своего положения, не видит связи жизненных явлений.

И здесь Чехов раскрывает несоответствия. И здесь он, как писатели-«шестидесятники», возлагал вину не только на одни обстоятельства. Поэтому в рассказе его звучало одновременно и сочувствие токарю, и порицание его. Это дано порою в иронической тональности, в некоторых даже резких, а не только насмешливых выражениях повествователя: «Болтает он языком машинально», «ошалевший токарь» и др. Повествователь очерка «Взбрело в башку» радуется тому, что Иван Алифанов вырвался из беды (ему отрежут по суставу на трех пальцах, но он будет трудоспособен); автор рассказа «Горе» фиксирует внимание на безвыходности положения токаря: «Токарю аминь!»¹

Некоторые ранние сценки Чехова из жизни народа оказываются по общей направленности и особенностям формы ближе не к произведениям Успенского 1880-х годов, когда у писателя сложилась теория «власти земли», а к его сценкам 1860-х годов. Сравним, например, рассказы Чехова «Тоска» (1886) и «Извозчик» Успенского (1867)². Разумеется, нельзя и здесь ждать

¹ А. П. Чехов. Горе, т. 4, стр. 96. Г. И. Успенский. Взбрело в башку («Кой-про-что»), т. 10, первая книга, стр. 244—245.

² Этот рассказ Успенского перепечатывался и в сборнике «Нравы Растеряевой улицы» (СПб., 1872), и в собрании сочинений 1883 г. К теме тяжелого положения столичных извозчиков Успенский обращался также в цикле «Кошачьи соборы» («Извозчик в аппарате», 1888).

тождества или механического повторения, хотя в центре внимания обоих писателей — образ оторванного от деревни петербургского извозчика.

Чехов, как и Успенский, создает в рассказе зимний пейзаж, т. е. воспроизводит время, наиболее трудное для извозчика. «Ванька» Успенского мерзнет в ожидании седоков, шагает по панели, похлопывает рукавицами, подпрыгивает, передергивает плечами, покряхтывает. Такого выражения физического состояния Ионы мы не видим в рассказе Чехова. Писатель поставил психологическую задачу: показать душевное состояние Ионы, его тоску по умершему сыну и его одиночество. Соответственно этому Иона рисуется человеком, не восприимчивым к внешним впечатлениям: он не замечает мокрого снега, вздрагивает, когда его окликают, больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника. Настойчиво повторяющиеся в начале рассказа слова: «неподвижно», «не шевельнется», «не двигается с места» — создают впечатление сосредоточенности Ионы на своем горе, погруженности в горькие раздумья.

Психологическая задача, поставленная Чеховым, не исключила, хотя и несколько оттеснила, социально-бытовые стороны жизни извозчика, которым уделено много внимания в рассказе Успенского; уже в начале Успенский дает представление о жизни «Ваньки» в деревушке Калужской губернии, о его семье: жене и ребятишках, о нужде, необходимости платить подушные, ради чего «по Петербургу мыкается извозчик «Ванька». Писатель показывает бесплодные усилия «Ваньки» заработать, мечты о сенокосах, возвращение после томительного, безрадостного дня в харчевню, где собираются извозчики. Успенский дает представление читателю и о хозяине «Ваньки», который «немало уедаст у него веку», и о других «Ваньках», озябших и голодных, копошащихся в душном подвальном помещении харчевни.

Хотя мы не находим у Чехова такой многосторонней картины социально-бытовой жизни Ионы, но некоторые лаконичные замечания в ходе повествования вызывают в нашем сознании и его прошлое («кого оторвали от плуга...»), и особенности труда, быта в Петербурге. Чеховский Иона также не имеет своего угла, ютится вместе с другими извозчиками в душном, грязном помещении. Иона хоть и «удачливее» «Ваньки» Успенского, у него было несколько седоков, но и он даже «на овес не выезжал». Седоки у Успенского даны, главным образом, в воспоминаниях «Ваньки»: одни любят расспрашивать про женский пол, другие грубы с извозчиком; лишь одного, обманувшего «Ваньку», видит читатель. И это связано с основной задачей

Успенского: показать безысходную нужду, отсутствие заработка у извозчика.

Чехов же, стремившийся больше всего к тому, чтобы раскрыть душевное состояние одинокого, страдающего человека из народа, рисует седоков Ионы, людей различных характеров, темпераментов, равно, однако, холодных, безучастных к горю Ионы. Безмолвная, тихая тоска скромного человека противопоставляется Чеховым суматошной жизни городских обывателей, «господ». Шумный город, яркие огни, суетящиеся, сытые, эгоистичные, развращенные люди, грубые, резкие окрики, брань, злоба — создают контрастный фон большому невысказанному чувству Ионы.

Это впечатление одиночества, бесприютности усиливается в финале рассказа: Иона, безуспешно пытавшийся поведать свою печаль людям, «рассказывает все» своему единственному преданному другу — лошади. К этому финалу Чехов подводит читателя всем ходом своего повествования. «Ванька» Успенского вымещает на хозяйской лошади свое огорчение неудачами: раздосадованный, стегает ее. Для чеховского Ионы — лошаденка и источник его существования, и друг. Они понимают друг друга. Она повторяет его движения, как будто думает и чувствует с ним заодно. Это дано во многих деталях. В начале рассказа Иона поглощен своими думами, весь бел, как привидение, «не шевельнется»; его лошаденка «тоже бела и неподвижна», тоже «погружена в мысль». Затем: «Извозчик... вытягивает по-лебедьному шею», и «лошаденка тоже вытягивает шею». «Лошаденка, точно поняв его мысль, бежит рысцой». В финале: «Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина».

Таким образом, Чехов по-своему организует в рассказе даже и близкий Успенскому материал, ставит и разрешает свои задачи, и при этом, так же как Успенский, высказывает сочувствие человеку из народа, заставляет задуматься над его судьбой.

* * *

Сама жизнь и пример русских писателей, в частности Г. Успенского, давали Чехову богатый материал для обобщений. Так, например, при создании рассказа «Унтер Пришибеев» Чехов, разумеется, пользовался жизненными впечатлениями, но едва ли он не помнил и такие классические образы, олицетворявшие, по наблюдениям В. И. Ленина, политический режим самодержавно-полицейской России,¹ как Мымрецов у Г. Успенского или гоголевский Держиморда.

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 17, стр. 288, т. 20, стр. 392.

Хотя очерк Успенского «Будка» был создан в конце 1860-х годов, но он перепечатывался в сборниках писателя 1870—1880-х годов, а персонаж, в нем изображенный, как и «растопленные люди» в очерке «Новости» (1866), оказывался вполне современным для той поры, когда А. П. Чехов писал свой рассказ «Унтер Пришибеев». Кстати, в августе 1885 г., т. е. за несколько месяцев до появления этого чеховского рассказа в «Петербургской газете» (в октябре), современники были свидетелями грубой расправы на Невском «петербургского Мымрецова» — городского Бурнуса — с ни в чем неповинными людьми. Бурнус был приговорен к 17-дневному аресту.¹

Г. Успенский, вспоминая об этой истории в цикле очерков «Мы» на словах, в мечтах и на деле» (1886), пользуется для характеристики «деятельности» Бурнуса теми же словами, что и для характеристики Мымрецова. В обязанности Бурнуса входит восстанавливать «полицейскую тишину»; метод его — хватать и тащить за шиворот. Не только в России, но и за рубежом наблюдает писатель таких Мымрецовых — Бурнусов в начале 80-х годов.²

Ничего не изменилось со времен Мымрецовых, и молодой Чехов в образе унтера Пришибеева показывает ту же несложную полицейскую практику «тащить и не пущать», «взыскивать», «запрещать», «разгонять». Чехов писал рассказ «Унтер Пришибеев» в то время, когда Успенский работал над очерком «Простое слово» (1885), в котором изобразил станового Полупьянова — грозу мирных обывателей. Он замучил всех доносами, требует повиновения, страха. Его девиз: «искоренить и истребить». «Начнут девки песни петь — разврат, который следует истребить с корнем», так как прежде чем песни петь, нужно недомки уплатить.³

В прогрессивных журналах (например, в «Отечественных записках») с конца 1870-х годов постоянно отмечалась та неограниченная и «страшная власть», которая была предоставлена по Положению урядникам, говорилось о злоупотреблениях этой властью, о том, что контингент урядников состоит «из отбросов общества в умственном и моральном отношении. Урядники имеют привычку употреблять свои длани и кулаки для заущения, зуботычины и т. д.»⁴ В вольной русской печати за рубежом

¹ «Неделя», 1886 г., 6 декабря, № 49 («Дело о полицейском насилии»).

² Г. И. Успенский. «Мы» на словах, в мечтах и на деле, т. 10 (кн. 2), стр. 11, 68.

³ Г. И. Успенский. Простое слово, т. 9, стр. 448—458; см. также «Прискорбное недоразумение», т. 12, стр. 150—158. А. П. Чехов. Записные книжки, т. 12, стр. 257.

⁴ «Отечественные записки», 1880, № 12 («Внутреннее обозрение»).

приводились факты, свидетельствующие о насаждении правительством «сверху» «массового шпионажа»: «Как ни многочисленны у нас жандармы, тайные и явные, как ни широко вторглось 3-е отделение в частную жизнь всякого гражданина, но теперь правительство нашло, что этой опеки все-таки недостаточно, и привлекло к наблюдению за политическою нравственностью обывателей, дворянников, швейцаров».¹ Через четыре года атмосфера не только не разрядилась, но еще более сгустилась: «Идеал... правительства нашего Александра III добиться, чтобы за столом каждого русского обывателя сидел шпион». «Что шпионство у нас в полном расцвете, это старая истина, но оно не стоит на месте, а, развиваясь, облекается все в новые и новые формы».²

Писатели — современники этих явлений — Г. Успенский и Чехов вносили теперь в свои произведения новые оттенки, соответствующие победоносцевской действительности, времени массового шпионажа. В пору реакции, когда большим злом для народа были уже не только штатные «блюстители порядка» — полицейские, урядники, успешно пользовавшиеся «шиворотной пропагандой», но и добровольные любители «наводить порядок», «кляузники», «сверхштатные блюстители», Чехов написал свой рассказ «Унтер Пришибеев». Именно так: «клязник, сверхштатный блюститель» назвал он его в первоначальном варианте.

За четыре года до появления этого рассказа в «Отечественных записках» был опубликован очерк Г. Успенского «Подозреваемые», в котором автор говорил о «деревенских кляузниках». «Донос!... вот единственный проторенный путь для выражения всех государственных и общественных стремлений, вот модный общедоступный, популярный способ». «Опустошителями своего отечества» называет писатель шпионов, агентов и утверждает, что кляузы обычно делаются не без личных расчетов, выгоды, хотя и прикрываются интересами общественными³.

В рассказе Чехова «Унтер Пришибеев» была поставлена, таким образом, актуальная тема. Цензура запретила его, так как нашла, что автор преувеличивает общественный вред «усиленного наблюдения полиции». В образе унтера Пришибеева писатель изобразил добровольного «защитника законов», раз навсе-

гда усвоившего правило, что нужно власть уважать. С тупою последовательностью он устраняет «беспорядки», оскорбляет словами и действием, «пришибает» (отсюда и фамилия его Пришибеев). Чехов проник в существенные стороны жизни, показав, как распространено было в это время подслушивание, подглядывание, боязнь «крамолы»,¹ и как при этом власти лицемерно скрывали свою поддержку фискалов, «сверхштатных блюстителей». Суд, законы как будто не на стороне Пришибеева, как будто в пореформенное время предоставлена большая свобода народу. Мировой судья даже осуждает на месяц Пришибеева, как петербургский городской Бурнус был приговорен к аресту на 17 дней. Чехов срывает маску с этого лицемерного «правосудия», со всей реакционной политики государственных пришибеевых, отголоском которой является в рассказе «деятельность» унтера.

Пришибеев с его убогим духовным миром, рабским поведением изображается Чеховым как желанный угодник полицейской власти. Его холопское («пришибеевское») сознание вполне усвоило бредовые идеи господ — чиновных Пришибеевых. Его воображению всюду мерещится вольнодумие, опасное непослушание власти, нарушение законов. Поют ли песни, сидят ли вечером с огнем, смеются ли, ведут ли беседы — во всем слышит «клязник» Пришибеев «беспорядки», слышит «политические слова». Он, как Мымрецов, находится постоянно в «томительном состоянии» полной готовности «изловить», «разогнать», «взыскать».

Успенский, стремясь показать тупость, ограниченность будочника Мымрецова, отказался раскрывать «тайнственные свойства души» его, оговорив, что «мрак угрюмости и молчания непроницаемою пеленою покрывал тайну происхождения его других

¹ «Общее дело», 1879, июль, № 25 («Письмо из Петербурга»). В «Земле и воле» (1879, 20 февраля, № 4) приводилась речь в думе Александра II. Он обратился к домовладельцам с просьбой, чтоб они смотрели за своими дворниками и жильцами. «Вы обязаны помогать полиции и не держать подозрительных лиц».

² «Общее дело», 1883, № 52 («Хроника», «Корреспонденция»).

³ Г. И. Успенский. Подозреваемые, т. 7, стр. 370—372.

¹ Распространенность подобных явлений ясна из того, что молодой Чехов во многих рассказах воспроизводит различные их варианты. То он показывает бывшего станового, поменявшегося «на тему»: «сборища запрещены», «а посиди-ка, братец» («Случай mania grandiosa»), то сотрудника газеты, который в припадке сомнения сделал у себя обыск и, даже не найдя ничего предосудительного, «все-таки сводил себя в квартал» («Обер-верх»). Он изображает Дробискулова, составляющего протоколы-доносы в стихах («Закуска»), доносчика швейцара Макара («Депутат, или повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало»), или влюбленного юношу-шпиона («Знамение времени»), или «словоохотливого господина», провоцирующего молодого человека на разговоры, имеющие дурные для этого юноши последствия («Говорить или молчать?»). Цензура догадалась, что здесь изображен правительственный шпион, в присутствии которого автор советует держать язык за зубами), или, наконец, больного, обеспокоенного тем, что у его постели врачи произносят такие «крамольные слова», как «режим», «конституция» и др. («У постели больного»).

желаний и убеждений». ¹ Писатель сосредоточил свое внимание на «деятельности» его — поисках «шивороты». Соответственно этой задаче дано в очерке несколько эпизодов. В каждом из них «блуститель порядка» оказывается в смешном или нелепом положении: то он схватил не подлинного виновника, а первого попавшегося под руки человека, то появился слишком запоздало для прекращения «беспорядка» («Что за шум! — заговорил Мырцев, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. — По какому случаю дебош?»), то не обнаруживает «шивороты», за который следовало, по его понятиям, «тащить».

Успенский иронизирует над полицейской властью, снижая постоянно принятый будто бы торжественный тон. Сравнив, например, будку с храмом муз или с иностранной виллой, он как бы «одумывается»: не храм муз, а кутузка, сибирка; и громадные калоши будочника Мырцева не похожи на лебедей перед виллой. «Понтийский пилат» оказывается солдатом, следующим за Мырцевым; «подвиги» — расправами с мирными обывателями. Сатирически дается и портрет Мырцева; как и душевные качества, внешний вид его не описывается автором подробно. Читатель получает лишь общее представление об угрюмой неповоротливой фигуре. Многократно сравнивается Мырцев с пнем, с палкой: похож на корень дерева, на «бесчувственный пенек», «торчал у будки», алебарда тоже «торчала». И в речи его подчеркнуты те же убожество, тупость; отсюда повторяющиеся слова: «шиворот», «тащить», «не пущать», «По какому случаю шум?».

Чехов, поставив близкие Успенскому задачи, создает также сатирический портрет «сверхштатного блустителя» Пришибеева, отбирает при этом такие отталкивающие детали: «хриплый придуренный голос», «колющее лицо», «вытянутые по швам руки». Чехов также отказался от описания душевных качеств примитивного Пришибеева, и в речи его тоже передал духовное убожество, тупость, невежество: «по слабости болезни», «труп мертвого человека», «эстафет» и др. Настойчиво звучат в речи «законника» Пришибеева слова: «угнать», «взыскивать», «составить акт».

Но в чеховском рассказе Пришибеев не угрюмо молчаливый, а самоуверенно словоохотливый «кляузник». Постоянно ссылаясь на законы («по какой статье свода законов?», «по какому такому основанию?»), он витиевато и косноязычно выражает свою мысль. Здесь учтена Чеховым новая функция современных Мырцевых — добровольных доносчиков, шпионов. По-

этому в рассказе Пришибееву предоставлено слово. Он ведет речь неторопливо, охотно, с достоинством, с сознанием полной своей правоты. От него самого, а не из авторских зарисовок (как у Успенского) мы узнаем теперь о его «подвигах».

Писатель тоже ставит Пришибеева в смешное положение человека, не понимающего, как он выглядит в глазах других людей. Речь его, в которой как будто фотографически и стенографически точно воспроизводятся эпизоды, случаи, слова участников и его собственные, одновременно дает представление читателю о «профессиональной практике» шпиона Пришибеева, тупой невосприимчивости ко всему тому, что выходит за пределы очерченных «законом» норм; в то же время мы видим, что Пришибеев не забывает выставить себя перед начальством преданным блустителем порядка.

Чехов воспроизводит прошлое Пришибеева: солдатчина, военная муштра выколотили из него, как из Мырцева, последние признаки человеческого существа. «Муштра комкала их, перемалывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску». ¹ Подобно Успенскому, Чехов показывал, что царское правительство не заботилось об образовании своих верных слуг. Чем неразвитее были они, тем скорее можно было рассчитывать на слепую охрану ими законов. «Изувеченность и умственное оскудение были главной причиной того блистательного успеха, с которым Мырцев занимал предназначенный ему пост», — писал Успенский. В ряде деталей воссоздает Чехов биографию Пришибеева. Читатель легко представляет себе, как «выбивался в люди» чеховский «герой»; в роли унтер-офицера он расправлялся с солдатами (и сейчас Пришибеев говорит, «точно командует», дает волю своим кулакам); в роли гимназического швейцара он был «кляузником»: всюду подслушивал «неподходящие слова» и охотно доносил жандармам о «неблагодетельных».

Оба писателя показывали антинародную сущность «деятельности» полицейских слуг, усвоивших правило: «народу волю давать нельзя». Мырцев и Пришибеев показаны воспитанниками полицейского государства, деспотически грубыми с народом. Покорные слуги самодержавия, они наследуют от своих господ презрение к людям «простого звания», видят в них только «шивороты», «серые шинели» и т. д. «Мужик — простой человек, он ничего не понимает», — говорит унтер Пришибеев и, как Мырцев, обращается к народу только в повелительном тоне: «Разойдись!», «Не толпись!», «По домам!».

¹ Г. И. Успенский. Будка, т. 3, стр. 357.

¹ Г. И. Успенский. Будка, т. 3, стр. 355.

Так, проникновение в самую жизнь и внимание к произведениям предшественников, в частности Успенского, помогли молодому Чехову создать типичный образ, имеющий большое общественное и литературное значение. Такие рассказы, как «Унгер Пришибеев», по словам М. И. Калинина, — звали на борьбу с самодержавно-полицейским строем, с произволом, насилием, несправедливостью. «Чехов ободрял нас, вселял непримиримую ненависть к деспотизму, к полицейщине».¹

* * *

Само сходство тематики некоторых рассказов молодого Чехова с произведениями Г. Успенского, близость авторского отношения, общность некоторых принципов письма (при определенных чертах различия) являются своеобразным доказательством значительности того, что создано было Чеховым в ранний период его творчества. Мы убеждаемся, что противопоставление современной писателям критикой Чехова и Успенского было безусловно тенденциозным и ошибочным, особенно, когда сравниваем не только рассказы, но и публицистические выступления Чехова восьмидесятых годов с очерками и публицистикой Успенского 1870—1880-х годов.

В эту пору писатели-современники наблюдали одни и те же явления жизни, их внимание привлекали порою одни и те же частные проявления действительности. Каково же было отношение к ним и как оно выразилось в творчестве того и другого писателя?

Приведем пример.

В конце 1884 г. Успенский и Чехов явились очевидцами процесса по делу директора Скопинского городского общественного банка Рыкова и сообщников его — членов правления банка, расхитивших «по миру тысячи семейств».² Газеты, вспоминая об аналогичных недавних процессах Юханцева, Свиридова, «деятели» таганрогской таможни, квалифицировали «дело» Рыкова как хищничество огромного масштаба и размаха. В вольной русской печати за рубежом видели в этом деле «знамение времени» и свидетельствовали, что в крахе скопинского банка не безгрешны некоторые государственные деятели, в частности Д. Толстой, который в нем «успел перехватить заманчиво 500 000 р.».³

¹ М. И. Калинин. О литературе, Лениздат, 1949, стр. 11.

² «Неделя», 1884, 9 декабря, № 50 («Рыковщина»).

³ «Общее дело», 1883, апрель, № 53 («Хроника»).

Успенский знал заранее о предстоящем процессе (следствие длилось более года). Он называл дело скопинского банка — «крупным безобразием» и заинтересовался не столько «миллионными глотками» (хищением сумм богатых вкладчиков), сколько разорением вкладчиков мелких.¹

В какой мере Успенский был взволнован этим делом Рыкова, в котором писатель увидел типичные проявления буржуазной действительности, присущее ей хищничество, можно судить уже по тому, что он обращается к «рыковщине» в ближайшие годы (1884—1889) многократно: в циклах «Через пень-колоду», «Несбыточные мечтания», «Скучающая публика», «Мы» на словах, в мечтаниях и на деле» и др.²

Слово «рыковщина» вводится Успенским как нарицательное. Он расширительно понимает его, связывая с представлениями о пореформенном времени, времени буржуазного развития: «Теперь времена стоят рыковские», «Рыков двадцать лет мог свирепствовать». «Рыковщина» (готовность поживиться, «рванье, грабеж», власть сильных, произвол — с одной стороны, и боязнь разоблачить злоупотребления, подхалимство — с другой) проникает, по наблюдениям Успенского, во все поры современного общества, в его политическую, интеллектуальную, нравственную жизнь. «Рыковщина» не только в скопинском банке, но и в любом проявлении «деятельности» русских и зарубежных «живорезов», в кулацком трактире, в ссудо-сберегательном товариществе, в земстве, в школе, в волостном суде, даже в семье. Знаменателен один из примеров «рыковщины», приведенный Успенским: отец донес на своего сына, в котором предположил «сицилиста». «Рыковщина, — пишет Успенский, — не только банковский грабеж». «Светлое сознание, ум, малейшие проявления доброй воли, прямота совести, словом, малейшее проявление души — все это претило, бесновало зоологический инстинкт рыковщины».³ О том, какое впечатление производили эти очерки Успенского, можно судить хотя бы по письму к нему одной из читательниц: «Первое, что я прочла из Ваших произведений, были «Несбыточные мечтания»... Что собственно обратило мое внимание: в «Мечтаниях» были Ваши замечания по поводу всем

¹ Г. И. Успенский. Из деревенских заметок о волостном суде, т. 8, стр. 487.

² О Рыкове и крахе его банка писал в разоблачительном духе М. Е. Салтыков-Щедрин в «Пестрых письмах» (1884—1886). Полн. собр. соч., ГИХЛ, М., 1937, т. 16, стр. 319—322.

³ Г. И. Успенский. Захотел быть умнее отца («Через пень-колоду»), Общественное дело на нашей памяти («Несбыточные мечтания»), т. 9, стр. 150—151, 310—311; письма Г. Успенского В. А. Гольцеву 16 июня 1887 г., В. М. Соболевскому, нач. мая 1889 г., т. 14, стр. 30—31, 290.

известного тогда дела Рыкова. Впечатление от этой заметки было неотразимо. В ней сказывалось столько благородного, человеческого, что не преклониться перед этой нравственной силой я не могла, и с тех пор с жадностью начала читать все, что только была в состоянии достать.¹

Успенский увидел, что рыковский «тип далеко не прост!». Писатель срывал маску с хищников-волков Рыковых, надевших «заячью шкуру», прикрывавших свое «противообщественное дело» высокими идеями, патриотическими чувствами, благотворительными целями. «Разворовывали банки якобы для развития русской промышленности и торговли». «Купцы рыковского типа» расширяли, улучшали, «оживляли местность», были намерены, по их словам, поднять, тем самым, народное благосостояние, дать заработок населению.² Успенский с негодованием говорил также, что «живорезы» Рыковы прикрываются личными добродетелями, чувствительной любовью к семье, детям: «Волк пламенно любит своих волчат».³

У нас нет достоверных данных о том, из каких источников черпал Успенский для своих очерков и публицистических работ сведения о деле Рыкова. Но можно высказать предположение, что среди этих источников были и хроникальные заметки из зала суда («Дело Рыкова и комп.», от нашего корреспондента), печатавшиеся в «Петербургской газете» за подписью «Рувер» с 24 ноября по 10 декабря 1884 г., и фельетоны «Осколки московской жизни», публиковавшиеся в конце 1884 г. в журнале «Осколки» за подписью «Улисс». Они принадлежали молодому Чехову.⁴

Недели за три до начала процесса Чехов, явно заинтересовавшись им, попросил Лейкина порекомендовать его (Чехова) редактору «Петербургской газеты» в качестве судебного хроникера и дать место «скопинскому делу» в журнале «Осколки». Он знакомился с некоторыми материалами и с самой судебной процедурой еще до судебных заседаний, а во время процесса все дни сидел в суде,⁵ и, хотя жаловался на усталость, на то, что «Петербургская газета» не только сокращает его корреспонденции, но порою изменяет даже их смысл, «вычеркивает все подо-

зрительное», однако был доволен своей ролью и полученными впечатлениями.¹

Свою задачу судебного хроникера Чехов не свел к простому «фотографированию» процесса, а считал необходимым выразить свое отношение, дать свою оценку. Из корреспонденций и фельетонов Чехова совершенно ясно возмущение его, как и Успенского, самим Рыковым и «стаей прихлебников Рыкова», подкупленных им лиц от губернатора до судебных приставов, телеграфистов, почтмейстеров, газетчиков, сочувствие писателя, так же как Успенского, мелким вкладчикам, жертвам этих «соловьев-разбойников», «скопинских башибузуков». Антипатия Чехова к «скопинскому атаману» Рыкову и его адвокатам чувствуется уже в выборе деталей их портретов. Так, пугливо бегающие глаза, «упитанное тело» — характеризуют внешний вид Рыкова. В душевном его складе Чехов подчеркивает животный эгоизм («зоологический инстинкт» — по Успенскому), барствующее холуйство, попиранье людей «низших сословий». Этот «всесильный туз», «эпикурец-фрачник», спесивый и деспотичный «наводил страх» на городских обывателей, мелких вкладчиков. «Человеческого достоинства этот жировик не признавал».

Чехов заметил то, о чем говорил позднее и Успенский: тип этот далеко не прост, он прикрывает высокими целями гнусную деятельность, за его красивой фразой, якобы гражданскими, патриотическими побуждениями следует увидеть подлинную сущность хищника. И Чехов, как Успенский, срывает маску с «речистого», «витийствующего» Рыкова, доказывает сознательность его преступления. Писатель организует всей системой своего изложения недоверие читателя к Рыкову, считающему себя «потерпевшим», к его «крокодиловым слезам» и к помощнику Рыкова — И. Рудневу, изображающему из себя «невинного барашка», подписывавшему преступные документы якобы по неведению, простоте, наивности.

Иронически передает Чехов последнее слово подсудимого Рыкова, его философствование, назойливые исповеди, отдельные реплики в ходе заседаний. Писатель приводит наиболее вопиющие по степени лицемерия, фальши места из речей Рыкова, в которых последний пытается представить себя гражданином; оказывается, банк он создал с благой целью предотвратить разорение в стране, содействовать развитию отечественного земледелия и промышленности. «Зная, какой страшный, непоправимый вред приносит России лесостребление, я занялся

¹ Письмо Г. И. Успенскому 2 мая 1889 г. «Глеб Успенский». Материалы и исследования, изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 377—378.

² Г. И. Успенский. Несбыточные мечтания, т. 9, стр. 307—311; Новые деревенские песни (из деревенских заметок), т. 12, стр. 44.

³ Г. И. Успенский. Несбыточные мечтания, т. 9, стр. 307; «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая», т. 10 (кн. вторая), стр. 240.

⁴ Одновременно в «Петербургской газете» печатались материалы процесса по делу Митрофанова, который тоже привлек внимание Успенского.

⁵ Письмо А. П. Чехова Н. А. Лейкину 16, 26 ноября 1884 г., т. 13, стр. 115, 118.

¹ Письма А. П. Чехова Н. А. Лейкину 26 ноября 1884 г., 28 апреля 1885 г., т. 13, стр. 118, 132, В. Гиляровский. Друзья и встречи, «Сов. писатель», М., 1934, стр. 31.

добыванием каменного угля». Щедрые подачки чиновникам, по просту взятки, Рыков объясняет своей благотворительностью, желанием обеспечить скопинских чиновников. А готовность жертвовать всем во имя вкладчиков «новопеченный Цицерон» у Чехова выражает так: «Если бы для уврачевания ран моих вкладчиков понадобилось бы мое сожжение, то я с восторгом вошел бы на костер, и сам бы зажег его».¹

Такое же красноречие, но при этом еще поверхностное понимание сущности «дела», путаницу понятий видит Чехов у защитников Рыкова. В «Осколках московской жизни» он наметил сатирические характеристики большинства адвокатов; в корреспонденциях в «Петербургской газете» особенно подчеркнул склонность к фразерству, позу, витиеватости выражений даже лучших защитников. В голове слушателей в результате остаются не основания, не аргументы защиты, не мысли, а «красоты стили»: «скрижаль», «храмина», «скорпион» и проч.

В духе тех пародийных произведений, о которых шла речь выше, Чехов создает портреты защитников. Картинные позы, «миндальные слова», нарочито вибрирующий голос заменяют им факты, глубокие мысли и подлинные, искренние эмоции. «Прежде чем начать говорить, этот юноша закрывает ладонью лоб, облокачивается о пюпитр и задумывается, а/а Печорин над трупом Бэлы... Подумавши и покачав головой, он гордо поднимает голову и движеньями всего языка пытается изобразить грома небесные... Глаза функционируют не как простые гляделки, а как молнии. Он говорит, как начинающие жеппе premier'ы в мелодрамах, с тою только разницей что жеппе premier'ы правильно выражаются по-русски».²

Можно предположить, что реальные впечатления во время рыковского процесса заставили молодого Чехова задуматься и над более общими вопросами: состоянием современного суда как одного из проявлений «новой» пореформенной жизни. В этих хроникальных судебных заметках, в таких рассказах 1885—1886 гг., как «В суде», «Сонная одурь», «Сильные ощущения» и др., писатель склонен был ставить под сомнение обоснован-

ность тех восторгов, которые высказывали либералы по поводу «нововведений» в судебной системе (институт защитников, присяжных заседателей). Чехова угнетали своим казарменным видом не только здания судов, но и сам процесс судебных заседаний, превращенных, как видел он (подобно Л. Толстому), в комедию, в скучную канитель, пропитанную «канцелярским равнодушием», «машинным бесстрашием»¹ к судьбам подсудимых, и виновных, и невиновных. Он видел, в частности, что роль присяжных была сведена к нулю; на неразвитое сознание большинства их оказывали давление как общая казенная атмосфера в суде, так и пустое красноречие защитников и прокуроров.

Подобно Успенскому, Чехов в ближайшие годы (1884—1891) многократно вспоминал о «рыковщине». Он видел в ней также проявление типичных черт современной действительности. В рассказах «Старость», «Психонаты», в «Картинках из недавнего прошлого» мы находим упоминания о «скопинском деле». Кражи, хищения в банках, в земстве, виртуозность крупных и мелких мошенников, продажность чиновников, властей (от городского головы до почтмейстера) даны Чеховым как повседневные явления. Писатель также увидел в «рыковщине» симптомы буржуазного господства, торжества буржуазной политики. Знаменательно, например, что, говоря в публицистических очерках о московских выборах в думу, о том, как купцы взяли верх, Чехов вызывает у читателя ассоциацию с «рыковским делом», пользуется именем Рыкова как нарицательным, воплощением хищничества, невежества, «силы» лжи и фальши: «На наших последних выборах так пахло Скопиным, что на Воздвиженке, где помещается дума, все прохожие носы затыкали».²

В то же время в восприятии и воспроизведении «рыковского дела» находим у Чехова черты, отличающие его от Успенского. В рассказах «Беда», «Беззащитное существо», в водевиле «Юбилей» слышны отзвуки тех впечатлений, которые получил писатель во время судебного процесса. Но отойдя теперь на небольшое расстояние, он представляет некоторые факты в трагикомическом (фигура купца Авдеева в рассказе «Беда») или в водевильно-комическом виде (Кистунов, Шипучин в «Беззащитном существе», «Юбилее»).

¹ А. П. Чехов. В суде, т. 5, стр. 190—196.

¹ А. П. Чехов. Дело Рыкова и комп., т. 3, стр. 503, 506, 532. В вольной русской печати также отмечали лицемерие, ханжество Рыкова. «Достоинно замечания, что все первоклассные мошенники и воры настоящей эпохи — суть люди в высшей степени религиозные, строго соблюдающие уставы православной церкви; да, они — святые, все эти Свиридовы, Рыковы, ... с которыми знакомит нас уголовная хроника последнего года. Скопинский Рыков каждый год с семьей отправлялся на поклонение в Печерскую Лавру и проводил там время в строгом посте и молитве» («Общее дело», 1883, 9 февраля, № 52 «Хроника»).

² А. П. Чехов. Осколки московской жизни, т. 2, стр. 447—448. Чехов прибегает в этих случаях к манере Успенского: заменять действующее лицо какой-нибудь характерной для него деталью одежды. Так, слово «чуйка» очень часто у Успенского является заместителем слов: лавочник, мешанин. У Чехова в «Деле Рыкова и комп.», — «подсудимые — чуйки», в «Картинках из недавнего прошлого»: «А вы, господин, потише-е!» — шипит чуйка с красным носом и в новых сапогах гармоникой, по всем признакам клеврет Рыкова» (т. 3, стр. 501, 535).

² А. П. Чехов. Дело Рыкова и комп., т. 3, стр. 503, 506, 532, 526, 528

В рассказе «Беда» главные преступники — директор банка, бухгалтер, члены правления лишь названы, но не даны в действии, находятся как бы за сценой. Крупным же планом зарисован втянутый в преступление и не до конца понимающий свои функции в «деле» член ревизионной комиссии банка — купец Авдеев. Чехов ставит в трагикомическое положение своего героя. Авдеев разглагольствует со знакомыми о крахе банка, осуждает виновников его («Умели, курицыны дети, грабить, так пушай же теперь ответ дадут»), хвастает своей наблюдательностью и прозорливостью (давно предчувствовал крах банка, знал, что там не совсем чисто), но не допускает даже мысли, что в раскрывшемся преступлении есть большая доля вины его, не видит, что и на него надвигается беда, удивлен, когда подвергается аресту, суду, ссылке.

Чехов показывает Авдеева не только невежественным, темным, по-своему доверчивым человеком (в нем есть нечто от «невинного барашка» Руднева; он подписывал отчеты не читая, не разбираясь в них, брал от директора банка деньги, думая, что тот дает ему в долг), но и человеком, привыкшим к легкой, «сытой», бездумной жизни, принимающим, как должное, свое благополучие (отсюда повторяющаяся деталь: «выпивал, закусывал икрой»), свое привилегированное положение, воздаваемые ему не по заслугам почести: он уважаемый в городе человек, гласный в думе, церковный староста.

Само непонимание Авдеевым до последних мгновений наступившей перемены жизни, неподготовленность к несчастью, желание все объяснить ошибкой, недоразумением, надежды на то, что все вернется к прошлому, — даны Чеховым как проявление привычки Авдеева к беззаботному существованию. Подобно тому, как это делает Чехов во многих произведениях, в рассказе «Беда» он показывает Авдеева как бы «изнутри», раскрывая его психологию, побудительные мотивы поступков, слов, и «извне» — давая понять объективный смысл и объективные последствия этих слов и поступков. При этом с самого начала рассказа Чехов ставит читателя в положение человека, находящегося в тесном контакте с автором, видящего преступность героя при всем непонимании самим Авдеевым своей роли в совершенном преступлении. Читатель видит также, что преступление Авдеева не только в том, что он участник «краха банка», а в самом складе, характере его быта, жизни.

В рассказе «Беззащитное существо» и в переработанном из него водевиле «Юбилей» Чехов также своеобразно использовал полученные во время рыковского процесса впечатления. Это обстоятельство представляет интерес и потому, что свидетель-

ствует: даже в основу таких, казалось бы, «просто шуточных» произведений Чехова, как водевили, положены реальные факты.

В «Юбилей» главное лицо, которое писатель считает возможным сделать водевильным героем (Шипучин), выполняет функции Рыкова; он — директор частного банка. Чехов не ставит задачей в этой шутке воспроизвести все стороны характера и поведения Рыкова, все черты его общественной физиономии. Он использует лишь одно: пристрастие к форме, что, однако, вовсе не является нейтральным в «деятельности» банка, неминуемо идущего, ввиду хищений, к краху. «Для репутации банка, — говорит Шипучин, — необходима некоторая pompa». И пышный юбилей (15-летие), который собирается отпраздновать директор банка, чтобы «пустить пыль в глаза публике», и роскошная обстановка в правлении нужны, по словам Шипучина, «для шику». «Тон — великое дело», в банке все должно иметь торжественный вид, импонировать вкладчикам. Забота о форме, о репутации банка, как было известно по материалам рыковского процесса, являлась одной из главных забот. Именно для этой цели — отвлечения внимания от хищений — Рыковым подкупался целый ряд лиц. Чехов представляет это обстоятельство в сгущенно-водевильном, карикатурном виде. Шипучин «организует» публичное изъявление любви к себе, директору банка: члены правления преподнесут ему адрес, который он сам сочинил, и подарок — серебряный жбан, который он сам купил. В предполагаемом докладе Шипучина, в адресе, им сочиненном, переданы также черты, сближающие его с Рыковым: многословие, самовлюбленность, фальшь, чувствительность, любовь к «красотам стиля».

Создавая «Юбилей», Чехов не допускает ничего такого, что «отяжелело» бы шутку. Известно, что он высмеивал современных авторов водевилей (Щеглова, Карпова) за то, что они ставили невыполнимую и нелепую, с точки зрения Чехова, задачу: написать водевиль, который одновременно и смешил бы и «трагедией пахнул».¹ Прекрасно зная все детали «рыковского процесса», поняв общественный смысл его, увидев и субъективные трагедии, Чехов, однако, решив писать водевиль, ограничил себя в выборе материала и в его освещении. Он не довел своих водевильных героев до раскрытия преступления, до суда, хотя и намекнул на хищения, на обман вкладчиков, на все то, что могло привести на скамью подсудимых. «Хотите, чтоб они вас под уголовщину подвели?» — спрашивает даже один раз открыто Шипучина бухгалтер Хирин, превосходно во всем осведомленный. Преступления даны здесь как возможные, но не выявленные.

¹ Письмо А. П. Чехова А. С. Суворину 2 октября 1888 г., т. 14, стр. 175.

В водевиле взят момент не «краха», а торжества банка; история с юбилеем вставлена в бытовую раму. Введя жену Шипучина, дамочку «с длинным языком», назойливую Мерчуткину, Чехов создал ситуации, характеры, которые соответствовали бесполовой, ничтожной жизни, суете незначительных людей; в то же время это вполне удовлетворяло требованиям, предъявляемым драматургом к такому жанру, как водевиль: «1) сплошная путаница, 2) каждая рожа должна быть характером и говорить своим языком, 3) отсутствие длиннот, 4) непрерывное движение».¹

Приведенные примеры убеждают нас в том, что в оценке такого явления жизни, как дело Рыкова, писатели-современники Успенский и Чехов оказались близки друг другу, оставаясь при этом самостоятельными в выборе материала и в манере изображения. Уступая Успенскому в остроте и силе обобщения, Чехов, однако, разнообразнее представил в своих произведениях жизненные факты, привлекая внимание обоих писателей, тщательно отбирая те или другие стороны их для различных жанров: фельетона, рассказа, водевиля.

Рассуждения Г. Успенского о «рыковщине» явились результатом уже накопленных впечатлений о русской и зарубежной капиталистической действительности. Им предшествовали такие его произведения, как «Книжка чеков» (1876), «Пришло на память» (1881), «Буржуй» (1885) и др. Сложилась к этому времени и краткая формула: «Господин Купон». В постановке и решении Успенским вопроса о капитализме в России заметны и сила и слабость его идейной позиции. Трезвый реалист, видевший жизнь в ее развитии, он не закрывал глаза, в противоположность «правовверным» народникам, на появление нового хозяина и в городе и в деревне, понимал, что кулак не внешнее явление для русской общины, а порождение условий пореформенной жизни, «шестивия г. Купона». Успенский видел «разъединение деревенского общества на разные лагеря», он не питал иллюзий о сохранении «устоев». Наблюдения писателя над «общественными порядками в деревне» естественно привели его к восторженной оценке «строго беспристрастного взгляда» К. Маркса на особенности русского экономического развития, взгляда, основанного на изучении реальных фактов (ст. «Горький упрек»).

Успенский заметил также эволюцию г. Купона: от старомодного купца (из мужиков), питавшегося редькой, угрождавшего будочникам, чиновникам, губернаторам, неуверенного в себе, боязливо-религиозного — до современных хищников, разорите-

¹ Письмо А. П. Чехова А. С. Лазареву-Грузинскому 15 ноября 1887 г., т. 13, стр. 391.

лей народа и природных богатств, «артистов притеснения», «виртуозов терзания».¹ В характерной для Успенского сатирической манере зарисована «зоологическая» натура современного буржуа. Ястребом, «сплошным брюхом», карманом, чековой книжкой называет его Успенский. «Брюхо это лежало в каюте второго класса лицом к стене и спиной к публике», — читаем, например, в очерке «Буржуй».² В очерке «На травке» Лиссабонский наблюдает на пароходе «хищные морды живорезов», они ведут «ястребиные разговоры». В словах: силóm, веревка, палка, оплеуха выражена «вся суть ястребиной жизни».³

«Деревенских биржевиков» зарисовал Успенский в ряде очерков. Это хозяин постоялого двора — Родион Иванович, который кажется рассказчику каторжником, а его постоянный двор — «разбойничьим заведением» («Расцеловали!», 1877). Это Гаврила Волков («Из записной книжки», 1882); он «выбивается в люди», наживаете преступным путем. Это Демьян Ильич («Пришло на память», 1881), содержатель извозничьего двора, и многие другие. Обычно Успенский показывает их в соотношении с народной массой. Эти «деревенские пройдохи» пользуются даже своеобразным уважением крестьян за то, что «сумели» нажить деньги, выбраться из крестьянской нужды, приобрели власть, силу, за то, что «свою пользу понимают». В этом отношении к кулакам, «первым людям в деревне», Успенский угадывает индивидуалистические склонности крестьян (сами бьются из-за того же); замечает он все растущую власть денег в деревне, от которой не свободен «аристократ пашни», закономерность процесса расслоения крестьянства: «Народная масса поминутно выделяет из себя... хищников, кулаков, мироедов».⁴

Кулаки у Успенского не только вышли из крестьянской среды, но они и эксплуататоры народа. Демьян Ильич, например, слышет за человека умного, распорядительного, который «цену человеку знает». Он и жена его ласково относятся к Варваре, прекрасной работнице, которая вносит, по словам Успенского, в труд поэзию, радость (играя, трудится). Самим ироническим тоном повествования Успенский отделяет свое отношение к кулаку Демьяну Ильичу от наивного, незрелого отношения к нему людей из народа, тем самым обличает его и вызывает сочувствие к обманутой им Варваре: хозяева «позволяли» ей «играть» (т. е.

¹ Г. И. Успенский. Из записной книжки, т. 8, стр. 120.

² Г. И. Успенский. Буржуй, т. 9, стр. 471; Хочешь — не хочешь, т. 4, стр. 64.

³ Г. И. Успенский. На травке, т. 7, стр. 235—236.

⁴ Г. И. Успенский. Из деревенского дневника, т. 5, стр. 191; Власть земли, т. 8, стр. 90.

трудиться), а деньги посылали отцу ее «по возможности». Когда Демьян Ильич ушел с Варварой ловить рыбу, жена поняла, «что тут уже не Варвара играет, а «играет» Демьян Ильич».

Авторское сочувствие Варваре своеобразно выражено и в том, что она лишена биографии, в то время как дана история «выбившегося в люди» Демьяна Ильича. О трагической судьбе ее, впрочем, не трудно догадаться. «Такие люди, как Варвара, — пишет Успенский, — живут без биографии... Они — только цифры, «статистические данные», и больше ничего».¹

В противоположность народникам, считавшим развитие капитализма регрессом и мечтавшим о том, что Россия минует путь европейского развития, Успенский утверждал: в России не удалось остановить «маховое колесо европейских порядков».² В сравнении с бывшими хозяевами жизни, бездеятельными помещиками, даже хищническая деятельность капиталистов у Успенского имеет прогрессивный характер: хоть «Купон» и превращает человека в полтину, но дает ему работу, хлеб, «оживляет местность» строительством железных дорог, фабрик, заводов. В то же время писатель видел разорение, обнищание народа, которое несет капитализм, и глубоко страдал от этого.

Г. Успенский не избегал и некоторых народнических иллюзий. Он мечтал, если не о полном предотвращении развития капитализма в России (так как осознал, что это невозможно), то хотя бы о каком-то преграждении наступления его на народные массы, и в этом случае возлагал, как увидим позднее, определенные надежды на интеллигенцию. Он не отказал и самим кулакам в возможности возрождения. Так, Михайло Фирсанов («Пинжак и чорт»), отбившийся от крестьянского хозяйства и занявшийся в «пинжаковой компании» «оборотами», наживой, вновь возвращается к крестьянству, испытывает болезнь совести, сознает нечистоту своей жизни.³

Успенский не понял до конца подлинных черт прогрессивности капитализма; с опасением вглядывался он в процесс «раскрестьянивания», развития промышленности в стране в 1870—1880-е годы, склонен был видеть гибельное, развращающее влияние города, фабрик, заводов на нравственные устои, мирозерцание, трудовую жизнь крестьянина, деревенскую семью (история «подстоличного», судьба Ивана Босых в циклах «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли»).

¹ Г. И. Успенский. Пришло на память, т. 7, стр. 138.

² Г. И. Успенский. Из деревенского дневника, т. 5, стр. 194.

³ Купец Тараканов в цикле «Скучающая публика» также лишь испорчен «новым временем», атмосферой наживы; ему поручает писатель саморазблечение.

В решении этого вопроса особенно заметны противоречия, колебания Успенского. Он не может не видеть сходства европейской и русской капиталистической действительности, «страшной неправды», социальной несправедливости, но ему хочется верить, что русские фабрики более патриархальны, чем фабрики Бельгии, например, что русский фабрикант не такой беспощадно жестокий эксплуататор, как бельгийский, шведский и др. («Выпрямила», «Болезнь совести», «Петькина карьера»).

Успенский не может не признать прогрессивного значения развития промышленности, техники, просвещения для города и деревни (это даже начинают понимать его герои: Иван Ермолаевич, например), и в то же время он сожалеет об уничтожении «под ударами рубля» патриархальности, всего того, что, по его мнению, связано с властью земли, с поэзией земледельческого труда.

Писатель улавливает антинародную сущность капитализма (блага науки и культуры не являются достоянием народа, не облегчают его жизни), но он не приходит к мысли о борьбе самого народа, а то ставит под сомнение самые эти блага, то рассматривает на отдельные личности, на интеллигентов, которые внесут «свет» в мрак народной жизни. Значение развития промышленности, обобществления фабричного труда для роста сознания народа, так же как историческая роль пролетариата, остались непонятыми Успенским.

Не понял этого до конца своей жизни и Чехов. Но самостоятельно, параллельно Успенскому и вслед за ним изучая жизнь 1880-х годов, а затем наблюдая новые элементы развития ее в 1890-е годы, Чехов преодолевал иллюзии не только народников, но Л. Толстого и Успенского. Вместе с тем, внимательное отношение к жизни закономерно «привело» Чехова к Успенскому, во многом сблизило с ним. В процессе развития Чехов-художник, как и Успенский, все яснее и яснее сознавал, что «купонный строй» проникает во все сферы жизни, вплоть до искусства, любви, семейных отношений и т. д.

Еще в ранних рассказах 1883—1886 гг. — «Добродетельный кабатчик», «Осенью», «Кулачье гнездо», «Интеллигенты-кабатчики», «Панихида» — Чехов, подобно Успенскому, Салтыкову-Щедрину, изображал кулаков, лавочников, кабатчиков. Даже в портретах этих лиц молодой Чехов передавал грубость, топоровость этих «выходцев из мужиков и лакеев», оторвавшихся от «родной почвы», но не приставших к «образованным классам»: «Здоровенный, коренастый», «мордастый мужик с сонными заплывшими

ми глазками», «тупая лень и равнодушие» на лице, «бритое, жирное и бугристое... лицо».¹

Писатель особенно подчеркивал их угрюмую расчетливость, жадность к деньгам, тупость сознания и нравственных принципов. Лавочник Андрей Андреич в рассказе «Панихида» «тупо, высокомерно» смотрит в церкви на проходящие мимо него чуйки и пестрые платки; он «глядит с тупым удивлением» на священника, когда тот объясняет ему, что в записке, поданной к жертвеннику, нельзя писать: «блудница». Тупо считает он свою дочь блудницей, так как она «актерка». «Тупо глядя» на природу, которая вызывает восхищение его дочери, он думает: «Эти места только место занимают... От них корысти, как от козла молока».²

В этих рассказах Чехов, вслед за Успенским, срывал маску с «добродетельного кабатчика» Цуцыкова, с «добродетельного» Тихона («Осенью»), обнажая их грубую сущность, вредную, разорительную для окружающих «деятельность». Особенно ясно это в рассказе «На мельнице», в котором писатель поручал матери кулака-мельника, женщине добродушной, любящей, огорченной «немилостивым» характером сына, высказать свою горечь и досаду: «А то, что народ против тебя рассказывает, горе ты мне!.. Будто ты народ сосешь, насильничаешь... Твоя мельница, словно место какое проклятое... Нет тебе другого прозвания кроме Каин и Ирод».³

Однако, в противоположность Успенскому, Чехов здесь как-то изолировал этих своих героев от народа, не дал ярких зарисовок взаимоотношений лавочников, кулаков, кабатчиков с людьми из народа, и тем самым далеко не полно осветил эти фигуры. Здесь нет той боли о народе, которая ясна в произведениях Успенского и зрелого Чехова («Мужики», «В овраге»).

В названных рассказах молодой писатель сосредоточил свое внимание, главным образом, на отношениях кулаков и помещиков. Цуцыков постепенно прибирает к рукам именно бездействующего прекраснородного барина («Добродетельный кабатчик»); кулаки, вытеснив владельцев усадьбы, строят вокруг трактиры, дачи («Кулачье гнездо»). Настойчиво показывает в это время Чехов кулаков, лавочников, миллионеров, фабрикантов в соотношении с интеллигенцией, и при этом обличает произвол, самодурство не знающего «удержу» миллионера Пятигорова

¹ А. П. Чехов. На мельнице, т. 5, стр. 405; Осенью, т. 2, стр. 284; Кулачье гнездо, т. 4, стр. 290; Панихида, т. 4, стр. 162.

² А. П. Чехов. Панихида, т. 4, стр. 162—166; (подчеркнуто мною — М. С.).

³ А. П. Чехов. На мельнице, т. 5, стр. 409.

(«Маска»), фабриканта Фролова («Пьяные») и подхалимствующих, подличающих перед ними «образованных» людей.

Эти рассказы доказывают, что Чехов был свободен от некоторых иллюзий своего предшественника. Успенский рассчитывал на интеллигенцию как на силу, которая сможет нейтрализовать кулацкое засилье в деревне, которая своими высокими нравственными принципами (заботой об общественном благе) будет противостоять «зоологической правде» ястребов («Малые ребята», «Без определенных занятий», «Бог грехам терпит» и другие очерки 1880—1881 гг.). В соответствии с этим он показывал появление в деревне людей, которых еще не много, но которые борются с мироедами, жертвуя собою во имя улучшения жизни народа.

Чехову же были ближе другие примеры, известные, по произведениям Успенского: перерождение интеллигентов, влияние на них буржуазных «норм» жизни. В рассказе «Интеллигенты-кабатчики» (1885) Чехов показал воздействие на интеллигента мира кулаков, кабатчиков: «Несообразность наглядная, декольтированная до цинизма», — пишет он в духе Успенского, Салтыкова-Щедрина.¹ Интеллигент становится кабатчиком, студент, «ратующий против общего зла», примиряет в себе самом черты русского студента с «бесчестьем тупого кулака»: с одной стороны, борьба с пьянством, хлопоты о школе, а с другой — «распивочно и на вынос».

Как Успенский, Островский, Мамин-Сибиряк и другие писатели-современники, Чехов показывал, что на сознание, чувства человека губительно действует «воздух наживы»,² эксплуатации. В рассказе «Пьяные» (1887) адвокат, поверенный фабриканта, подличает перед миллионером-самодуром Фроловым. За право вкусно есть, празднично жить он продает свою совесть, человеческое достоинство. Чехов здесь поручает, как это делает часто Успенский, самому купцу Фролову осознать и «скотоподобие» своего собственного существования и мерзость поведения своего постоянного спутника-интеллигента: «Тяжелый, скверный я человек... Нехорошая, пьяная, бесстыдная жизнь. Ты образованный, умный человек, а только усмехаешься и пьешь со мной... А ты бы, если ты мне друг, если ты честный человек, по-настоящему должен был бы сказать: «Эх, подлый, скверный ты человек! Гадина ты!».³

Но персонажи Чехова не разделяют участи героинь Успенского: Абрикосовой, ушедшей из купеческой среды в народ

¹ А. П. Чехов. Интеллигенты-кабатчики, т. 4, стр. 566.

² Г. И. Успенский. На старом пепелище, т. 4, стр. 138.

³ А. П. Чехов. Пьяные, т. 6, стр. 55.

(«Неизлечимый»), Анны Федоровны, возродившейся для новой жизни во имя народа («На старом пепелище»). Своеобразие чеховского решения особенно ясно видно в рассказе «Скука жизни», близком во многих отношениях к очерку Успенского «На старом пепелище». Успенский показал эволюцию Анны Федоровны. Жена купца, неуклюжая, с тупым взглядом, она всю жизнь спала, ела, рожала детей. Под влиянием несчастий (муж кончил самоубийством перед ревизией, сын осужден за подлоги, дочери убежали с любовниками-актерами, приемная дочь умерла) Анна Федоровна как бы проснулась. Она, по словам Успенского, перегорела в огне, который растопил жир, разбудил в ней душу, совесть. Анна Федоровна начала сама учиться (с азбуки), а затем учить чужих детей грамоте. Успенский, стремясь вызвать сочувствие к своей героине, показывает изменение и в ее портрете: лицо приобретает осмысленность, взгляд — простоту, благородство.

В рассказе Чехова «Скука жизни» Анна Михайловна Лебедева, ведшая до сих пор «греховную, неряшливую жизнь», также под влиянием личного несчастья (смерть дочери-невесты) и, по-видимому, чтения Успенского приходит к мысли о необходимости деятельной помощи народу. Чехов в этом случае не столько сочувствует Анне Михайловне, сколько анализирует побудительные причины этой спешной перестройки жизни («беспорядочно заторопилась», «беспорядочно судорожно заторопилась»). Страх смерти, боязнь одиночества, кары за грехи — вот что, по мнению писателя, создает у его героини иллюзии общественного служения. Автор обнажает индивидуализм, тщеславие, позерство, юродствующее желание «пострадать», движущее ее филантропической деятельностью: «Ничто ей не доставляло такого удовольствия, как мысль, что она борется со своею брезгливостью и не щадит себя».¹

Однако, говоря об иллюзиях Анны Михайловны, Чехов заставляет читателя думать о необходимости поисков (и не в старости только, не в момент личных несчастий и катастроф) большой, освещающей все существование человека цели, осознать, что жизнь без цели — тягота, ужас. Он подсказывает также, что, помогая народу, нужно исходить не из эгоистических, тщеславных побуждений, не из ложного, искусственного смирения, не из желания личного спасения; нужны и знание народа, и подлинное чувство любви к нему. Все это естественно «приводило» Чехова к Успенскому; поэтому не случайно, что в рассказе «Скука жизни» имеется явная ссылка на него. Муж Анны Михайловны,

опустошенный эгоцентризм, зло разрушает ее иллюзии, сознавая в то же время, что без них нельзя существовать: «Знаменитые писатели на что, кажется, умны, но и то без иллюзий не могут. Вот твой любимец семь томов про «народ» написал!»¹ Чехов поддерживает Успенского самым финалом произведения, в котором он как бы говорит: уж лучше иллюзии Анны Михайловны, нежели обывательское существование. Когда Анна Михайловна под влиянием мужа лишается своих «иллюзий», то жизнь ее уподобляется тому «свинскому существованию», о котором писал с негодованием Успенский в своих очерках. Хотя и запоздалая, и не очень искренняя «деятельность» для народа все же облагораживала ее, отказ же от этого дела привел к духовной смерти, полной опустошенности: «старники отдались вкусовым ощущениям», «отдались еде, сну».

Придавая большое значение интеллигенции, Г. Успенский был огорчен тем, что она не играла подобающей ей роли — борца за правду. В восьмидесятые годы, он, как и Чехов, постоянно ставил «злосчастный, неотвязчивый вопрос — что делать?.. чем нам быть?»² В одном из его писем этого времени читаем: «Человеку... надо знать, «как жить» на свете, надо знать, что делать, что хорошо, что нехорошо».³ Понятно, что Успенского привлекала первая драма Чехова «Иванов», в которой ставился вопрос о современной интеллигенции, осуждалась ее бездеятельность. Следил он и за отзывами на эту пьесу. В. В. Тимофеева вспоминает, что писатель дал ей фельетон об «Иванове» московского критика: «Вот, возьмите, прочитайте, пожалуйста... Посмотрите, какую чепуху напорол».⁴ Здесь речь идет, по-видимому, о статье П. Кичеева, критика «Московского листка», в которой пьеса Чехова была названа «глубоко безнравственной, нагло-цинической путаницей», «отвратительной стряпней», «дредбеделью», автор — «бесшабашным клеветником на идеалы своего времени», центральный герой — «негодяем, попирающим все законы».⁵

Хотя подобных резких суждений было немного, напротив, почти все рецензенты отмечали необычайный успех пьесы в театре.

¹ А. П. Чехов. Скука жизни, т. 5, стр. 339—340. Ко времени создания этого рассказа Чехова вышло 7 томов первого собрания сочинений Успенского.

² Г. И. Успенский. В ожидании лучшего (1883), т. 8, стр. 507.

³ Письмо Г. И. Успенского Х. Д. Алчевской 4 марта 1885 г., т. 13, стр. 427.

⁴ В. В. Тимофеева (Починковская). Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские (воспоминания и впечатления). «Глеб Успенский в жизни». Academia, 1935, стр. 487.

⁵ П. Кичеев. По театрам, «Московский листок», 1887 г., 22 ноября, № 325.

¹ А. П. Чехов. Скука жизни, т. 5, стр. 329, 331, 342.

сходились на признании талантливости, оригинальности первой драмы Чехова, жизненности персонажей и положений,¹ но автору «Иванова» было брошено много упреков, и значительных и незначительных. Одних не удовлетворяла «повествовательность» пьесы; других — то, что автор не дал прошлого Иванова; третьим казалось, что в образе доктора Львова писатель создал пасквиль на 60-е годы. Некоторые находили, что мешанская среда зарисована слишком карикатурно.²

В «Неделе» опасались, что Чехов вызовет интерес зрителя не к прошлому Иванова, а к его настоящему, «к мукам и страданиям в сущности ничтожного человека».³

Н. К. Михайловский ведет в этом случае борьбу и против «Недели» и против автора «Иванова», которого несправедливо считает апологетом «тусклого, серого, умеренного и аккуратного жития», защитником «малых дел», безыдейного существования. Идеолог народничества подходит и к этой пьесе с предвзятой точки зрения, называет ее неудачной, «слишком слабой». Он диктует драматургу: нужно было сделать из Иванова комическую фигуру, — и выражает свое неудовольствие: Чехов не оправдал его (Михайловского) надежд, не этого ждал он от первой большой вещи молодого писателя.⁴

Замысел Чехова не был понят во всей его сложности современной критикой. Задачей писателя было показать современного интеллигента, в недалеком прошлом деятельного, впрочем, в пределах «малых дел», увлеченного, а теперь уставшего, разочарованного. Жизнь не подкашивает его новых верований, в то время как старые уже изжиты, он не понимает себя, своей перемены, испытывает чувство вины за свою бездеятельность; не может он опуститься и до окружающей его обывательщины, пошлости. Виновник несчастья других людей, он и сам глубоко несчастлив. Осознание своей бездеятельности, терзания, отсутствие воли, лень, хандра, «ранняя старость», бессцельность существования — все это было дано Чеховым как выражение объективного положения и состояния интеллигентов восьмидесятых годов.

Писатель сознательно не хотел изображать в пьесе ни ангелов, ни злодеев, он не ставил задачей оправдать или осудить

¹ «Петербургская газета», 1889, 1 февраля, № 31 («Театральное эхо»). «Русские ведомости», 1889 г., 1 апреля, № 90 («Журнальные отголоски») и др.
² «Гражданин», 1889 г., 23 февраля, № 59 (Кольцов. Ум и правда), «Сын отечества», 1889 г., 2 февраля, № 32 (Театр, музыка и зрелища).

³ «Неделя», 1889 г., 5 февраля, № 6 (В. Тихонов. Заметки).

⁴ Н. К. Михайловский. Молодость ли? (Случайные заметки и письма о разных разностях). Об отцах и детях и о г. Чехове, т. 6, стр. 647, 648, 778.

Иванова. Драма писалась в тот период, когда Чехов считал обязательным лишь правильно поставить вопрос, а право судить предоставлял присяжным, т. е. читателям.

Г. Успенскому, по-видимому, многое в пьесе Чехова показалось убедительным, но его, художника с иным политическим темпераментом, не могла удовлетворить ни эта авторская позиция, ни отсутствие в пьесе примера общественного поведения для современного интеллигента. В цикле очерков «Грехи тяжкие» (1889) Успенский напомнил читателю об «Иванове» Чехова. Он не только не оспаривал здесь правильности наблюдений и обобщений молодого драматурга, но и поддерживал их, создавая образы рассказчика и слушателей. Они, так же как Иванов, в юности увлекались общественной деятельностью, а с годами возможность «ожить» в каком-нибудь сочувственном деле стала все более и более уменьшаться у них, и теперь хотя они и осознают бессцельность своего существования, но ограничиваются страданием, нытьем, нудными разговорами. Успенский тем самым как бы отводит упрек брошенный Чехову некоторыми критиками в нетипичности Иванова: «Что это такое? Где г. Антон Чехов видел таких отъявленных негодяев?»¹ По мнению этих критиков, было бы нелепо видеть в этюде Чехова о ненормальных людях «изображение какого-то общественного типа».²

Успенский заставляет своих героев побывать в театре на постановке чеховской пьесы и тем самым свидетельствует о популярности ее. Писатель ставит вопрос: какое влияние может оказать эта пьеса на современных интеллигентов? Он высказывает опасение, не заставит ли она ноющих, бездействующих интеллигентов оправдать свое существование и свое настроение. Один из героев Успенского говорит: «Целые слои общества живут так же бессознательно, как... действующие лица драмы «Иванов». То, что они не страдают за общее дело, — это верно; но верно, что это и не пустяки и что их жизнь, по-видимому, такая пустопорожняя, заслуживает глубочайшего внимания». Все приходит к выводу: «Никто ни в чем не виноват!». Вспоминая о своих юношеских годах, о тех прелестях, которые приходилось преодолевать их убеждениям, они склонны оправдывать себя, свое нытье, свою бездеятельность: «Общая картина невозградимых страданий вместе с тягостными картинами жизни, о которых шла речь, благодаря драме г. Чехова,

¹ «Московский листок», 1887 г., 22 ноября, № 325 (П. Кичеев. По театрам).

² «Московские ведомости», 1889 г., 5 февраля, № 36 (К...ий Театральные и музыкальные новости).

положительно привела всех опять в самое тяжелое душевное настроение. Стали пить, мрачно говорить злобные речи».¹

Если воспоминание о пьесе Чехова «Иванов» приводит рассказчика и слушателей в мрачное состояние духа, то рассказ об акушерке Анне Петровне Ивановой раскрывает лучшие стороны этих людей, как бы возвращает их к юности. В образе Анны Петровны Ивановой Успенский, вероятно, не случайно дал черты сходства с чеховским персонажем — женой Иванова, тоже Анной Петровной. Она — человек чистой совести, горячего сердца, искренняя, чуткая, самоотверженная, отдавшаяся идее общественного служения, которой увлекался в молодости Иванов. Успенский наделяет ее более действенным характером; его героиня забывает о себе, страдает за крестьян (и люди из народа любят ее), борется в деревне против «кулацкой подлости». Рассказчик как будто бросает в сторону Чехова упрек: вот кого следовало сделать центральным героем пьесы, и тогда она оказала бы благотворное влияние на современников: «Точно гора свалилась с плеч у всех собеседников. Вспомнилась светлая сторона трудных времен, тяжелая жизнь, согретая горячим желанием относиться к ближнему подлинно так же, как к самому себе, и все, что оставалось в их сердцах живого и негненного, все вышло на белый свет и широко распахнулось». «Так вот что натворила эта Анна-то Петровна».²

Такой поучающий для современников и для автора «Иванова» смысл этой истории в очерке Успенского раскрывали некоторые корреспонденты Чехова: «Я чуть не со слезами прочитала про Анну Петровну, тоже Иванову, и от души рада, что такой глубоко честный, правдивый, искренний человек, как Глеб Успенский, дал Вам урок смотреть на людей иначе, чем Иванов... Дай бог Вам учиться у Успенского... Вам надо прислушаться к жизненной неподкупной правде Успенского».³

Однако Успенский разрешил вопрос не так прямолинейно и примитивно, как его читательница. Рассказ он ведет не от своего имени, «урок» Чехову дан, таким образом, рассказчиком — податным инспектором Гавриловым. Ни рассказчик, ни слушатели («растолстевший статистик» Кондратьев, железнодорожный служащий Усачев), которые охарактеризованы автором как люди, живущие «в тихом пристанище», не могут быть отождествлены с Успенским. Писателю было свойственно не догма-

тическое решение вопроса, а осознание всей сложности его. И в других очерках видно стремление Успенского противопоставить мрачным настроениям современных интеллигентов, их растерянности, самоуспокоенности — «светлые пятна» самоотверженно действующих интеллигентов. Но писателю была ясна и опасность: успокоить совесть интеллигента этими найденными в жизни «светлыми пятнами». Знаменательно, что в статье, написанной в эту же пору, «Горький упрек», — Успенский прямо осуждал народническую тенденцию подбирать факты, «отрадные, благообразные явления нашей жизни, радующие душу истосковавшегося общества».¹ В цикле «Грехи тяжкие» чувствуется расчет автора на то, что читатель, познакомившийся с «растолстевшим статистиком» Кондратьевым, послушавший его речи, не очень поверит в возможность его возрождения под влиянием случая с Анной Петровной. Так Успенский поддерживал Чехова и в критическом отношении к обывательской среде, и в стремлении создавать сложные характеры и ситуации.

Но осужденная Чеховым сначала в рассказах «Драма», «Кошмар» (1886), в пьесе «Иванов», а затем в произведениях «Дом с мезонином» и «Моя жизнь» (1896) либерально-народническая теория «малых дел» не сразу нашла противника в Успенском. Защита им хоть небольшой, но практической деятельности интеллигенции в деревне связана с народническими представлениями писателя о большой просветительской роли интеллигенции в противовес кулачеству. «В сплошной тьме, — писал Успенский, — мерцают огоньки — учительница в селе. Хотя и мизерны средства, а хорошо, огонек в черной, окутывающей ее кругом тьме, его трудно отвоевать среди целой орды кабатчиков, кулаков, на которых держится неурядица народная».²

В своих нетерпеливых поисках пути немедленной помощи народу, в своем горячем желании хотя бы очертить современнику контуры светлого будущего Успенский пробует различные способы. Он, например ставит читателю в образец деятельность кн. Васильчикова, содействовавшего расширению крестьянского землевладения, созданию народных школ («Хороший русский тип»). То Успенский рассуждает в духе Михайловского о прогрессе, о разделении труда, необходимо жить «трудами рук своих», то солидаризируется с Л. Толстым (полагая, что интеллигентным людям не обязательно немедленно идти пахать, но нужно воспитывать молодое поколение в трудовом духе: «сам

¹ Г. И. Успенский. О том, что натворила акушерка Анна Петровна («Грехи тяжкие»), т. II, стр. 439, 443, 446—447.

² Там же, стр. 447—448.

³ Письмо О. Бочечкаровой А. П. Чехову 28 апреля 1889 г. Архив Чехова. Отдел рукописей Гос. библиотеки имени В. И. Ленина.

¹ Г. И. Успенский, Горький упрек, т. II, стр. 13.

² Г. И. Успенский, Общие свойства «скукающей публики», т. 9, стр. 88.

хозяин, сам и работник»¹), то, наконец, Успенский показывает плодотворное воздействие на сознание окружающих подвижнической деятельности интеллигенции в деревне. Так, пример Абрикосовой пробуждает совесть, мысль даже у омертвевших, «освинелых» людей (дьякона, «Неизлечимый»). Здесь же укажем, что, быть может, не случайно в рассказе Чехова «Кошмар» (1886) такое же соотношение лиц: интеллигент Кунин, пришедший в деревню «служить народу», и местный священник о. Яков. Но роль Кунина у Чехова оказывается иной, чем роль Абрикосовой у Успенского. Кунин не пробуждает ничьей совести, напротив, теряет свою. «Чересчур сытый» человек, он не понимает того тяжелого положения, в котором находится народ, местная интеллигенция, низшее духовенство. Его «потуга к полезной деятельности» является как бы данью «моды», она завершается, как иронизирует Чехов, доносом на о. Якова, в котором высказываются несправедливые предположения. В авторской зарисовке оспариваются эти обвинения, легкомысленно брошенные Куниным; напротив, подчеркивается безысходная нужда, забитость, «совестливость» измученного жизнью человека, которого Кунин сделал своим «подсудимым».

Но «поборники чего-нибудь», деятельности «с булавочную головку»² все больше и больше вызвали неудовлетворенность Успенского. Замечал он и другую опасность: распространяясь, эти «модные» идеи попадают в головы таких людей, как Полумраков, Чистоплюев, которые на словах не прочь «полиберальничать». Они, по мнению писателя, профанируют идею служения народу, предают тех, кто подвижнически отдает себя этому делу («Малые ребята», «Выпрямила»)³.

В конце восьмидесятых годов Успенский уже прямо протестовал против того, чтоб интеллигентного человека ориентировали на «минимум», так как это укорачивает его идеал, убавляет его нравственные обязанности, сковывает его мысль и дей-

ствия, успокаивает; он же «сам обязан требовать перемен в окружающем положении», поступать «вопреки требованиям среды».¹

Эволюция Успенского в отношении к теории «малых дел», безоговорочное осуждение ее Чеховым, поиски обоими писателями ответа на вопрос: «Что делать?», стремление пробудить интеллигентов для общественно-полезного дела, чувство ответственности за народ, за будущее поколения — все это было большим прогрессивным делом в восьмидесятые годы, в момент спада революционного движения.

Сравнение произведений Чехова девяностых годов о народе и интеллигенции с творчеством Успенского 1870—1880-х гг., сопоставление обстоятельств и результатов сахалинского путешествия Чехова и поездки Успенского в Сибирь, выяснение особенностей очеркового жанра у того и другого писателя, освещение вопроса о борьбе за Успенского и Чехова в критике девяностых годов — все это является предметом специального исследования автора настоящей работы.²

¹ Письма Г. И. Успенского А. Ф. Саликовскому 29 апреля, 14 мая 1889 г., т. 14, стр. 293—297, 563—565.

² Вторая часть статьи: «Чехов и Глеб Успенский» печатается в «Таганрогском ежегоднике».

¹ Г. И. Успенский. Трудami рук своих («Скучающая публика»), т. 9, стр. 117, 121. В повести Чехова «Моя жизнь», особенно в диалогах Полознева и Благово, можно усмотреть полемические возражения автора не только на толстовскую теорию, теорию либеральных народников, но и на рассуждения Михайловского и сочувствующего порою им Успенского.

² Г. И. Успенский. Очень маленький человек, т. 4, стр. 502.

³ В девяностые годы сама историческая жизнь яснее раскрыла Чехову ущербность этой теории, поэтому писателю, и прежде далекому от народнических представлений, казалось необходимым показать несостоятельность, ограниченность таких людей, как Лида Волчанинова («Дом с мезонином»), посмеяться над авторами нежизненных романов, написанных в духе «малых дел» («Ионыч»), изобразить самих поборников «малых дел» отказывающимися от своих увлечений (Маша Должикова, например, в «Моей жизни»).